Санкт-Петербург

ИнтеллигенТ

Международная литературно-публицистическая газета. №1 (1) 2013 г. http://provintelligent.ru, spb-intelligent.web.officelive.com

Газета выходит один раз в месяц. Контакты для участия и сотрудничества, E-mail: spb.intelligent@gmail.com, provint.pashckov@yandex.ru

В этом году замечательному русскому поэту Борису Чичибабину исполнилось бы 90 лет.

«Я ТАК УСТАЛ! КАК РАБ ИЛИ СОБАКА»

В девяносто втором я добрался до Коктебеля где-то к середине сентября, почти сразу после окончания войны в Приднестровье, с единой жгучей целью – смыть с себя всю кровь и грязь, которая, казалась, впиталась за последние месяцы не только в кожу, но и в душу. Поэтому, не успев сбросить вещи, побежал на море, бултыхнулся и поплыл. А развернувшись через некоторое время лицом к берегу, увидел любопытную картину: вдоль пляжа, чем-то очень смахивающий на большую подстреленную птицу, вышагивал человек. Сгорбленный, с руками, замкнутыми за спиной, он время от времени высоко задирал голову и, точь-в-точь как огромная чайка, внимательно вглядывался в поверхность моря. Словно выискивал там кого-то. Чуть погодя я понял, кого он выискивает взглядом. Недалеко от меня плыла женщина, и человек беспокойно поглядывал в ее сторону – не дай Бог что случиться.

О том, что человека зовут Борис Чичибабин, я узнал буквально через несколько минут от Кирилла Ковальджи. Кирилл, родом из Бессарабии, завидев меня, обрадовался возможности получить последнюю информацию о своей воюющей родине и тут же подключил к разговору Бориса Алексеевича. Постояли, поговорили. Чичибабин был насуплен, замкнут, держал дистанцию. Изредка вставлял слова. Но слова эти как бы не нам предназначались, а кому-то другому, служили какому-то внутреннему контексту. Через некоторое время он опять задрал голову, оглядел берег и вдруг заволновался.

– Где Лиля? Где моя Лиля! – Подхватил свои пожитки и быстро засеменил в сторону дома. При этом шаг-то у него был широкий, но почему-то, когда шел быстро, казалось, что семенит.

Когда Чичибабин удалился, ко мне подошли два известных писателя – критик и публицист – из числа отъявленных демократов и предупредили:

– С Чичибабиным будь осторожнее, потому что он выступает против распада Советского Союза.

Как выяснилось чуть позднее, период нашего знакомства совпал с периодом личной драмы, которую Борис Алексеевич переживал мучительно и так, видимо, и не пережил. Драмой этой окрашены чуть ли не все его стихи последних двух лет жизни.

Видно без толку водит нас бес-то
в завирюхе безжизненных лет.
Никуда я не трогался с места –
дом остался, а родины нет.

Осенью 1994-го, месяца за полтора до смерти, он приехал в Москву, чтобы принять участие в поэтическом вечере, организованном «Литературной газетой» в киноконцертном зале «Октябрь». Чувствовал он себя уже плохо, колебался – ехать, не ехать, – но стихи перевесили. Вернее одно стихотворение, «Плач по утраченной родине», которое ему непременно нужно было прочесть перед переполненным залом и телекамерами. И он прочел:

Я плачу в мире не о той,
которую не зря
назвали, споря с немотой,
империею зла,

но о другой, стовековой,
чей звон в душе снежист,
всегда грядущей, за кого
мы отдавали жизнь.

С мороза душу в адский жар
впихнули голышом:
я с родины не уезжал –
за что ж ее лишен?

Но я уже знал эти стихи. Он переслал их мне в декабре девяносто второго, в канун своего семидесятилетия. Я знал, что он был одним из немногих тогда людей в стране, кто категорически не поддавался никаким стадным веяниям. Тогда в Коктебеле, через пару дней знакомства мы все-таки разговорились в комнате, которую они снимали с Лилей в Доме творчества. Я, хоть и видевший уже своими глазами, испытавший на своей шкуре, чем обернулся в реальности безумный развал страны, все-таки, путался, пытался что-то мямлить о реформах и обретенной, наконец, свободе. А у него все было продумано, прочувствовано, он давал точную оценку тому, что происходило.

– У нас у всех – ложное понимание свободы. Ни одно государство не может быть свободным, если люди, живущие в нем, – рабы. В последние годы, которые мы называем теперь застойными, я обрел свободу. Да, меня регулярно вызывали в КГБ, гэбэшники являлись домой. Но я обрел самую главную – внутреннюю свободу. Я был свободен той свободой, которая может быть присуща человеку даже в тюремной камере. И эту свободу у меня никто не мог отнять. Теперь я опять несвободен. Я не могу оставаться в стороне, когда гибнет культура, когда одна порочная мораль заменяется другой, когда газеты и журналы под угрозой закрытия, когда люди перестают читать книги. Я не могу оставаться безучастным, когда все подвергается уничтожению и осмеянию. Это и есть революция. Новые ниспровергатели готовы сбросить с корабля современности не только отжившее, но и все талантливое, живое, что было до них.

Борис Алексеевич, которому уже категорически нельзя было курить, все-таки, разволновавшись, выстрелил у меня сигаретку, пару раз затянулся и быстро загасил, завидев, что Лиля возвращается в комнату с огромной миской, наполненной фруктами. В принципе, этот наш разговор начался, естественно, с поэзии, а именно – с засилья в поэзии в тот момент концептуалистов и конструктивистов. Борис Алексеевич, считавший, впрочем, как и я, что стихи рождаются из тайны нам неведомой, никак не понимал, зачем нужно стихи конструировать и при чем здесь концепции вообще, если обязанность поэта – слушать Бога. Позднее, видимо, все еще обдумывая наш разговор, он посвятил мне стихи, которые начинались так:

Что-то стал рифмачам
Божий лад нехорош,
что не чую в них больше его я,
и достались в удел им
гордыня и ложь
и своя, а не Божия воля.

Но тогда от концептуализма в поэзии мы естественным образом перешли к концептуализму в жизни. И Чичибабин разразился монологом, который мне удалось записать:

– Я – русский поэт. И меня трудно обвинить в том, что я защитник тех людей, которые меня же и преследовали, или защитник империи. Я сам приложил руку к ее разрушению. Но, видит Бог, не такого разрушения я хотел. Если угодно, я хотел преображения. Я хотел, чтобы новая жизнь выросла из ростков лучшего, что было в нашей прежней жизни. А мы опять все разрушили и пытаемся строить на пустом месте самую бесчеловечную, самую бандитскую разновидность буржуазного государства. Почему? Потому что у них такая концепция. И опять, пошло-поехало: революция ради революции, реформа ради реформы. Не покаявшись, не очистившись от грехов, не помня о людях. Раздел страны ради раздела. Я всегда жил в Харькове и никуда из него не уезжал. Но стал человеком без родины. Потому что моя родина – это большая страна, по крайней мере, та ее часть, что говорит и пишет по-русски. И для этой страны я писал свои стихи. А теперь меня хотят границей отделить от русской культуры, русской литературы.

Для Чичибабина все трагические события, произошедшие с нами в последние годы и продолжающиеся до сих пор, были следствием концептуального мышления, того самого мышления, где идея, схема - превыше всего. Помню, как на конгрессе по русской литературе он схлестнулся с Константином Кедровым, который привычно теоретизировал, сев на любимого конька метаметафоры, попутно отрицая достоинства традиционалистов.

– Вот такие все и развалили! – ворчливо заявил мне чуть позже Борис Алексеевич, а потом отчаянно как-то добавил. – Ну нет у них любви! Нет! А эволюционное развитие требует любви и терпения, вдумчивости и трудолюбия. Конечно, гораздо легче все сломать. Но тот, кому дано лишь ломать, создавать не способен. Я сразу понял, что наши реформы – чистая конструкция, потому что опять все делается без любви, без Бога, без желания добра каждому человеку.

Кстати, любители идейных штампов на Чичибабине однажды серьезно лопухнулись. В 1949 году родители Бориса Алексеевича отправили его стихи в «Огонек». И консультантка редакции В. Попова прислала ответ «по поручению товарища Суркова». Ответ абсолютно стандартный, «концептуальный», какие многие из нас в прежние годы получали. Так вот, оценивая стихи как плохие и беспомощные, и фактически уговаривая Чичибабина не писать вовсе, консультантка решила его утешить: «Ведь вы работаете, тов. Чичибабин. Ваш труд, кем бы вы ни были, нужен, полезен стране и народу, ведь не только писатели и поэты нужны Родине».

Фокус в том, что именно в это время Чичибабин был «нужен родине» в качестве заключенного Вятлага.

Поражала его какая-то безграничная способность к сопониманию, умение встать выше обстоятельств, наций, религий, быть абсолютно свободным в своих реакциях на то или иное событие. Он просто научился не сдерживать свою свободу.

Побывав в знаменитом Иерусалимском музее скорби Яд-Вашем, побродив по Святой земле, он написал:

Мы были там, и слава Богу,
что мы прошли по солнцепеку
земли, чье слово не мертво,
где сестры-братья Иисуса
Его любовию спасутся,
хоть и не веруют в него.

Вот так, сходу встав над тем, что разделяет, презрев, казалось бы, вопиющее, он одним махом всех объединил, используя волшебное, но не всем доступное средство – любовь.

Однако, он свято верил в то, что его стихи написаны не им, что вот это неожиданное понимание, ключ к которому – любовь, продиктовано ему кем-то неведомым. Однажды он при мне обмолвился:

– Я не знаю, откуда взялись мои лучшие строки. Они не могут принадлежать мне – слабому, грешному, смертному человеку, подверженному всем грехам и соблазнам мира, невежественному рядом с ним.

Отсюда же, из этой веры, отношение его к стихам других поэтов, к тому, что продиктовано сверху не ему, другому. Даже если поэтика этого другого была очень уж далека от его собственной, вызывала непонимание или даже раздражение, он поглощал ее с огромным интересом, потому что так или иначе это было приобщением к некой общей Тайне. Когда вышел мой сборник «Острова», он прислал мне письмо, где были такие строки: «Перечитываю Вашу книжку. Меня, как читателя, изумляет и подавляет в ней обилие образов, всегда неожиданных и таинственных – почти каждая строка – новый образ.

Продолжение на стр. 2

Продолжение. Начало на стр. 1

То, что изумляет, – хорошо, то, что подавляет, – не очень: это затрудняет и ограничивает свободу и естественность восприятия стихов. Ловлю себя на том, что при чтении Ваших стихов иногда до раздражения, чуть ли не до физической боли хочется чуточку большей простоты, ясности, легкости, то есть безобразности – ловлю себя и упрекаю и жалею себя, так как это не Ваш, авторский, а мой, читательский, недостаток, моя вина».

Вот это самая «моя вина» меня поразила больше всего. У нас ведь чаще всего поэты и, прежде всего, поэты, ставшие журнальными чиновниками, как относились к стихам? Если на меня не похоже, если непонятно – значит, плохо. И в голову такому не приходит, что это именно он не со-понимает, не со-чувствует. Что он заперт в созданной им самим поэтической концепции.

Концепт убивает культуру. Пришедшая к нам буржуазность – концептуальна. Отсюда чичибабинское отрицание буржуазности:

Еще не спала чешуя с нас,
но, всем соблазнам вопреки,
поэзия и буржуазность –
принципиальные враги.

Отсюда – неприятие чуждого, навязанного американизма, заимствованных терминов и отношений между людьми. И – какая-то усталость, озабоченность в последние годы – от бессилия, как ему казалось, невозможности противостоять всему этому:

Тому ж, кто с детства пишет вирши,
и для кого они бесценны,
ох, как не впрок все ваши биржи,
и брокеры, и бизнесмены!

Но пусть вся жизнь одни утраты –
душе житьем не налякаться,
с меня ж – теши хоть до нутра ты –
не вытешешь американца!

Да знаю, знаю, что не выйти
нам из процесса мирового,
но так и хочется завыти,
сглотнувши матерное слово.

Ему была омерзительна не столько буржуазность, сколько культ буржуазности, ее зацикленность на брюхе, на разврате, ее жестокость и равнодушие к прочим смертным, не сумевшим или не успевшим украсть жар-птицу. Он не столько понял, сколько почуял еще в девяносто первом, что современная русская буржуазность – антихудожественна, бездуховна, способна поглотить все вокруг, пожрать самое себя, культуру, страну, наконец. Чичибабин об этом говорил – его не слышали. Кричал – не верили. Тогда он, сталинский зэк, диссидент, натерпевшийся от коммунистов по самые ноздри, стал дразнить новых буржуа и примкнувших к ним братьев по разуму красной тряпкой «красности»: «я красным был и быть не перестав, каким я был, таким я и останусь». Может это услышат? Услышали. Приклеили «красный ярлык» и продолжали жить, как жили. А жили грешно, ужасно жили. Развязали несколько кровавых войн на окраинах страны, последнюю из которых, чеченскую, Борис Алексеевич пережить не смог.

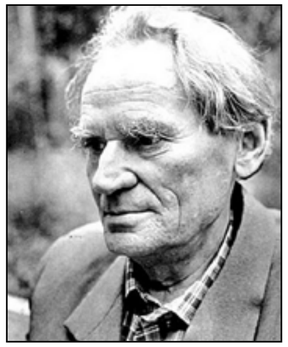
Я верен богу одиноку,
и, согнутый, как запятая,
пиляю всуперечь потоку,
со множеством не совпадая.

Ближе к середине декабря 1994 года мы с поэтом Евгением Рейном собрались в Харьков. Там, в местном театре, устраивался наш поэтический вечер, вести который должен был Борис Чичибабин. Во второй половине дня, прежде чем ехать на вокзал, я ему позвонил.

– Ждем, ждем, – услышал я в трубке. – Не тратьте деньги на телефон. Приедете – обо всем поговорим.

Утром на харьковском вокзале нас встречали грустные люди, сообщившие, что ночью, пока мы спали в поезде, Чичибабина увезли в реанимацию, и в сознание он не приходит. День прошел в тревоге, в телефонных звонках. Но ничего доброго телефонные голоса не сообщали.

Вечером театр был полон. Мы читали стихи, передавая друг другу микрофон,



и в промежутках поглядывали за кулисы, откуда сообщали, что Чичибабин в сознание не приходит. Я читал свои стихи, а в голове вертелись совсем другие строки, чичибабинские:

Одним стихам вовек не потускнеть,
да сколько их останется, однако.
Я так устал! Как раб или собака.
Сними с меня усталость,
матерь Смерть.

Ефим Бершин

Венки сонетов

Евгений Блажеевский

(1947-1999)

Русский поэт. В 1984 году вышел первый сборник его стихов «Тетрадь». «Лицом к погоне», вторая и последняя книга при жизни автора была опубликована через 11 лет.

Мы знакомим вас с венком сонетов Евгения Блажеевского «Осенняя дорога». Магистрал этого венка стал популярным романсом «По дороге в Загорск».

Редакция благодарит вдову поэта, Галину Николаевну Буркунову, за разрешение на публикацию.

ОСЕННЯЯ ДОРОГА

1.

По дороге в Загорск понимаешь невольно, что осень
Не желает уже ни прикрас, ни богатства иметь.
И опала листва, и плоды разбиваются оземь,
И окрестные дали оплавила тусклая медь.

Что случилось со мной на ухабистой этой дороге,
Где осеннее небо застыло в пустом витраже,
Почему подступает неясное чувство тревоги
И сжимается сердце, боясь не разжаться уже?..

Вдоль стекла ветрового снежинки проносятся вкось,
В обрамлении белом летят придорожные лужи,
А душе захотелось взобраться на голый откос,
Захотелось щекою к продрогшей природе припасть
И вдогонку тебе, моя жизнь, прошептать: “Почему же
Растеряла июньскую удаль и августа пышную власть?..”

2.

Растеряла июньскую удаль и августа пышную власть...
Беспощадное время и ветер гуляют по роще.
Никому не дано этой жизнью насытиться всласть,
И судьба на ветру воробьиного клюва короче.

Мимолетная радость в изношенном сердце сгорит,
Ожидание смерти запрятано в завязи почек,
Да кому и о чем на могильной плите говорит
Между датой рожденья и смерти поставленный прочерк!..

Неужели всю жизнь, все богатство ее перебора
Заключает в себе разводящее цифры тире?!
Я лечу сквозь туман за широкой спиною шофера,
Мой возница молчит, непричастный к подобным вопросам,
И пора понимать, что вот-вот и зима на дворе,
Что дороги больны, что темнеет не в десять, а в восемь...

3.

Что дороги больны, что темнеет не в десять, а в восемь,
Не приемлет душа, но во времени выбора нет.
Как постылого гостя, мы с ней тяжело переносим
Зажигаемый рано худой электрический свет.

На осеннем ветру мир туманен, суров и немолод.
Жизнь запряталась в шкуры, в берлоги, за стекла теплиц.
Подворотнями мается мучимый слякотью холод,
И небесное бегство закончили выводки птиц.

Опустело вокруг, и такая большая печаль
В эту пору распада, расхода, разлета, разъезда...
Мой возница, ругнувшись, нажал тормозную педаль,
Заработали “дворники”, веером сдвинули грязь,
И тогда я увидел за черной чертой переезда,
Что тоскуют поля и судьба не совсем удалась...

4.

Что тоскуют поля и судьба не совсем удалась,
Запишу на полях своей повести небезупречной,
Где нескладный герой, от насущных забот удалясь,
Пребывает в тоске и бессмысленной муке сердечной.

Где с мостами сгорели его корабли за спиной,
Где он склеил гнездо из осколков разбитой посуды
И притом повторял, что ни встречи, ни жизни иной
Не предвидит уже и пора прекратить пересуды.

Только что это?! Вновь возникает наплыв силуэта,
И тебя узнаю сквозь рябое от капель стекло...
Наважденье мое, отголосок счастливого лета,
Это правда, что я из прекрасного возраста выбыл,
Что взаимное время для нашей любви истекло,
Что с рожденьем ребенка теряется право на выбор?..

5.

Что с рожденьем ребенка теряется право на выбор,
Понимаешь не сразу, но бесповоротно уже.
Как продутому Невскому снится заснеженный Выборг,
Так ребенок приснится твоей беспокойной душе.

И куда бы ни ехал, куда ни спешил бы отныне –
Ощущенье вины подавляет тебя изнутри.
И пора позабыть о своей чистокровной гордыне,
Позабыть хоть на день, хоть на год, хоть на два, хоть на три...

А возница опять нажимает шальную педаль
И скрипят тормоза, проверяя изгиб поворота.
Налетает снежок, подмосковную зябкую даль
Оживляет солдатик с развернутым красным флажком.
Переходит дорогу из бани спешащая рота,
И душе тяжело состоять при раскладе таком...

6.

И душе тяжело состоять при раскладе таком,
Где тепло очага охраняет незримая Веста
И стоит, среди прочих, недавно построенный дом,
Но в квартирном быту для тебя не находится места.
Разорвать бы пространство, его заколдованный круг,
Нескончаемый круг, из которого вырос и вызрел!..
Мимолетная жизнь, как метафора наших разлук,
И судьба одинока, как дальний охотничий выстрел.

И куда убежишь!.. Пожелтели твои перелески,
Промелькнула церквушка, со стекол стекает вода.
И пространство летит, и туман опустил занавески
На осенний пейзаж, и дороги - куда ни вели бы -
В эти тусклые дни возвратятся с тобою туда,
Где семейный сонет исключил холостяцкий верлибр...

7.

Где семейный сонет исключил холостяцкий верлибр,
Там округлая форма реки, заточенной в трубу.
И по ней не плывут корабли, а ленивые рыбы
Не стоят косяком, на крючок направляя губу.

И течет твоя кровь, в темноте замедляя движенье,
По гармошкам бормочет, стоящих в дому батарей,
И семью согревает железное кровоснабженье,
Целиком поглощая все замыслы жизни твоей.

И уже не хватает ни правды, ни слов, ни тепла,
Ни тревожной надежды, ни тайны, ни внутренней силы,
Хоть в горячих потемках сошлись и совпали тела,
Хоть любовь замерцала в остывшей золе угольком...
Но приходит пора, когда быть молодым – некрасиво,
И нельзя разлюбить, и противно влюбляться тайком.

8.

И нельзя разлюбить, и противно влюбляться тайком,
И с подружкой под ручку спешить переулком холодным,
И давиться любовью, как послевоенным пайком,
Но, вкусив молодой поцелуй, оставаться голодным.

И поспешно одевшись, сказав на прощанье: “Мерси”,
Убегать в никуда, растворяясь в осеннем тумане,
И, поймав на пустынной дороге пустое такси,
Озираться опасливо, словно Печорин в Тамани.

А вокруг темнота. Только лист вдоль дороги шуршащий,
Только ветер, шумящий в шатрах облетающих крон,
Да предутренний голос, усталой душе говорящий,
Что любви не догнал, не схватился рукою за стремя...
Кто бы ни был попутчик – шофер или пьяный Харон,
По дороге в Загорск понимаешь невольно, что время...

9.

По дороге в Загорск понимаешь невольно, что время
Не песочно-стеклянный бессмысленный катамаран.
Сокращаются сроки, беднеет на волосы темя,
А в глазах, как и прежде, ночует весенний дурман.

Не считаются чувства с неловкой усталостью плоти,
Как чужие, живут на харчах и довольстве твоем.
Ты едва поспешаешь в мелькающем водовороте
И качели, скрипя, пролетают земной окоем...

А водитель опять закурил голубой “Беломор”
И нашарил приемник тяжелой мужицкой рукою.
Говорили о спорте: Пеле... Марадона... Бимон...
А я думал о том, что не надо судьбу ворошить,
Что покрой бытия, да с подкладкой своей роковою -
Не кафтан, и судьбы никому не дано перешить...

10.

Не кафтан – и судьбы никому не дано перешить –
Этот мир, что надет на тебя поначалу на вырост
И просторен вполне, но потом начинает душить
Воротник и потертый пиджак, из которого вырос.

Венки сонетов

Ни вольготно плечом повести, ни спокойно вздохнуть –
И в шагу, и под мышками режет суровая складка.
И уже не фабричная ткань облегла твою грудь
И запястья твои, а сплошная кирпичная кладка!

Впрочем, это гипербола выгнула спину дугою,
И кирпичный костюм - вроде сказочки Шарля Перро.
Видно, время прошло и, возможно, настало другое,
Непонятное мне... И куда-то уходит горенье
Суматошного сердца, и падает на пол перо,
Коли водка сладка, коли сделалось горьким варенье...

11.

Коли водка сладка, коли сделалось горьким варенье –
Не вина, а беда беспробудных ваньков и марусь.
Безрассудному пьянству не буду искать объясненье,
Но насколько он безрассудно сказать не берусь.

В этой слякоти дней, в этом скучном ничтожестве быта,
Как забвенье – бутылка, как счастье – граненый стакан...
Керосинная бочка судьбы да четыре копыта,
И куда доходяге-коню подражать рысакам!..

“Ну и прет же алкаш!..” – возмущенно бормочет шофер.
Промелькнуло пальто, и фигура качнулась слегка...
Что хотел он сказать, когда руки свои распростер
И в стекло погрозил, и прошел в направленье забора,
Этот жалкий прохожий, спешащий домой из ларька,
Коли осень для бедного сердца плохая опора?!

12.

Коли осень для бедного сердца плохая опора,
То дождись декабря, где тяжелому году конец.
Наряжается елка и запахи из коридора
Воскрешают страницы пособия Молоховец.

И снежинки, слетаясь, стучатся в оконную раму,
И дубовым становится стол перочинно-складной...
Ты веселых друзей пригласи и покойную маму
Усади в уголок, чтоб ей не было скучно одной

В этот вечер, когда за спиной открываются бездны
И на миг вспоминается зыбкая детская тайна...
– Вам салат положить или крылышко?.. – Будьте любезны!..
И пошла мешанина, и начали свечи тушить,
И опять вперемежку – Высоцкий, Матье, Челентано
И слова из романса: “Мне некуда больше спешить...”

13.

И слова из романса: “Мне некуда больше спешить...”
Про себя повторяю в застольном пустом разговоре.
И мотив продолжает в прокуренном горле першить,
И пролетка стоит на холодном российском просторе.

И сидит в ней надменный писатель в английском плаще,
Словно кондор, уставясь в сырое осеннее небо.
О, старинная грусть и мечтания, и вообще
Чепуха, вспоминать о которой смешно и нелепо!

Как любил я тебя в девятнадцать рассеянных лет,
Навсегда покидая свой край, где Кяпяз и Кура!..
Но меня уже нет и девчушки хохочущей нет,
И машина за КрАЗом уныло ползет с косогора,
И о том, что спешил неизвестно зачем и куда,
Так и хочется крикнуть в петлистое ухо шофера.

14.

Так и хочется крикнуть в петлистое ухо шофера:
– Не гони лошадей по разбитой своей мостовой!
Им уже не нужны ни ямщицкая глотка, ни шпора,
И зеленый бензин заменил табунку водопой.

Пусть они постоят бестелесные, холочка – к холке...
Колеся вдоль погостов, базаров, ангаров и школ,
Я вполне преуспел в запоздалой своей самоволке
И без них обойдусь, догоняя того, кто ушел.

Лошадиные силы души и душевные силы мотора!..
Перепуталось все: из камней создают виноград
И детали растят на бесхозной земле у забора,
И тебе самому твой угрюмый характер несносен;
Только как разобраться в потерях и кто виноват?
По дороге в Загорск понимаешь невольно, что осень...

МАГИСТРАЛ

По дороге в Загорск понимаешь невольно, что осень
Растеряла июньскую удаль и августа пышную власть,
Что дороги больны, что темнеет не в десять, а в восемь,
Что тоскуют поля и судьба не совсем удалась.

Что с рожденьем ребенка теряется право на выбор,
И душе тяжело состоять при раскладе таком,
Где семейный сонет исключил холостяцкий верлибр
И нельзя разлюбить, и противно влюбляться тайком...

По дороге в Загорск понимаешь невольно, что время –
Не кафтан и судьбы никому не дано перешить,
Коли водка сладка, коли сделалось горьким варенье,
Коли осень для бедного сердца плохая опора...
И слова из романса: “Мне некуда больше спешить...”
Так и хочется крикнуть в петлистое ухо шофера.

Кирилл Ковальджи

Поэт, прозаик, критик, переводчик. Родился в 1930 году в Южной Бессарабии. Автор многих стихотворных сборников и публикаций в литературной периодике России, Молдавии, Румынии, Польши и Болгарии. Член Союза писателей Москвы, редактор сетевого журнала «Пролог». Живёт в Москве.

КРУГИ СПИРАЛИ

1.

Когда, дрожа, слились во мраке двое,
Душа у них легка, а плоть сладка.
Незримо обступают их века
И Млечный Путь, как существо живое.

Творится дело, в сущности, простое,
Но буду вызван я из тайника.
Ждут облака, когда глаза открою,
И отклика ждет лепет родника.

Внутри самим себе мы незнакомы.
Красивы ли, умны ли хромосомы,
Где гениальный шифр, как на листе?

Влюбленные набаловались ночью,
Чтобы невольно, как бы между прочим
Взойти звезде в утробной темноте.

2.

Взойти звезде в утробной темноте,
Цепочки фаз пройти без проволочки!
Остаться б там, где начинался с точки
В счастливой простоте и наготе.

Но Программист всегда на высоте.
Рай теплой материнской оболочки
Становится подобен одиночке, –
Блаженство уступает тесноте.

Приговорен я волей неизменной
Расстаться с первой замкнутой вселенной,
Где я царил один и без проблем!

С меня хватило бы: в родном – родное...
Но повелеть – “родись в сорочке!” – всем
Стремится материнство мировое.

3.

Стремится материнство мировое,
Чтобы прошло изгнанье без следа.
Кровь, пуповина... Зрелище какое! –
Пролог невинный Страшного суда.

Но вот в глаза спасенье световое.
Мир сотворен уже внутри плода.
У губ дитяти – млеко молодое,
Осталась боль за кадром навсегда.

Пусть, присягнув красавицам нездешним,
Поэзия довольствуется внешним, –
Разгадка жизни скрыта в животе,

Где дух и плоть путем срамным и грешным
Подводятся усилием успешным
К единству в бесконечной полноте.

4.

К единству в бесконечной полноте
За Солнцем вслед – вокруг людей мгновенных
Плывет Луна среди созвездий пленных,
Блаженная в духовной нищете.

Рожденные доверьем к доброте,
Мы состоим из свернутых вселенных
И свернуто печатаемся в генах, –
Я теми был, а мною будут те...

Яйцо и Солнце – знак один опишет.
Бог больше бесконечности. Превыше
Любви сама любовь. Пусть на хвосте

Разносит весть в день рождества комета:
В который раз я удостоен света!
Дитя есть дань первичной чистоте.

5.

Дитя есть дань первичной чистоте,
Как утро мира, Солнце на востоке.
Подключены все мировые токи
К новорожденной жизни и мечте.

Но сколько скорби в нашей суете,
Где вкупе с добродетелью пороки
Торопятся преподносить уроки
Ребенку – ахиллесовой пяте...

Сто правд, сто кривд и сто противоречий
Ложатся на младенческие плечи,
Но детство – невесомая страна,
Где нам прописка временно дана.

Потом – разлом на женское, мужское...
Любовь – игра и чудо роковое.

6.

Любовь – игра и чудо роковое,
Точнее – Имя, что тебя займет,
Заполонит. Скажу: янтарь и мед,
Любовь – пересеченье золотое.

Пускай твердят: больное есть, дурное,
Скажу: слеза. Скажу: рука и рот.
Пусть говорят: хрипение и пот,
Скажу: стрела, ранение сквозное...

Любовь есть нить, в конце которой – Бог,
Ведь истинно вам сказано: любите
Друг друга, и невидимые нити
Сплетутся нежно в световой клубок

Вокруг Земли. Заданье чти земное.
Ты – царь, построив кров над головою.

7.

Ты – царь, построив кров над головою.
Дорога – к храму, к поприщу – стезя.
Дом поважней державы. Дверь открою,
Да проторят к нему тропу друзья!

Пусть бури ждут мятежные герои.
Дождю и ветру в дом входить нельзя.
Бездомный мир шатается, грозя.
Стол. Стул. Кровать. Великие устои!

Вернется путник, если дом в душе.
Нет общечеловеческого рая
Без личного, того, что в шалаше.

Восторжествует истина простая,
Что лучше – со щитом, чем на щите.
Но Бог – и тот распят был на кресте.

8.

Но Бог – и тот распят был на кресте.
Как часто паству подменяет стадо!
По миру бродят призраки распада,
У ада вход имеется везде.

Возводим стены вопреки беде,
Но дом – не крепость. Хватит и снаряда.
Приказ. Огонь! Ни дома нет, ни сада –
На картах и не значились нигде.

Защиты нет, родные. Нет гарантий.
Двадцатый век опишет новый Данте,
Где не про нас в грядущее побег...

Что ж. Дом свой украшает человек,
И ласточка исполнить прилетела
Призвание, обязанность и дело.

9.

Призвание, обязанность и дело...
При свете дня ищи свою звезду
И звездный час всегда имей в виду,
Пока судьба тебя ведет умело.

А если стрелку в компасе заело,
Разменяешься на ерунду,
На сон, на телевизор, на еду, –
Но творчество ревнивей, чем Отелло.

Ты власти в пасть, как кролик, не смотри,
А коли с ней успел совпасть – тем хуже.
Любая должность человека уже.

Цари и те пускали пузыри.
У человека вещный мир снаружи,
Отдельно – вызревание внутри.

10.

Отдельно – вызревание внутри.
Возможности... откуда? из-под спуда?
Какой разброс! – от Будды до Иуды,
От Богоматери до Бовари!

У нас дороги делятся на три.
Здесь выбор. Вероятность. Амплитуда.
А выше – ни случайности, ни чуда.
Гори, гори, звезда моя, гори!

Мы Бога мыслим в небе небывалом,
Он вездесущ и в бесконечно малом.
Закладкой в гены кто руководит?

Астральное наращиваю тело,
Питаю дух стремлением в зенит.
Вдруг седина, предвестница предела...

Продолжение на стр. 4

Продолжение. Начало на стр. 3

11.

Вдруг седина, предвестница предела...
Не спрашивай “за что” и “почему”,
Благодари, что не попал в тюрьму.
Под поезд или в оптику прицела.

Жизнь всю прожить –
завидней нет удела!
Детей и внуков обласкай в дому.
В рай пропуск выдают не по уму,
А по любви, что и врагов жалела.

Душа – как море. Утром янтари
Она выносит к берегу упрямо:
Купальщица, нагнись и подбери!

Ты жил и умер. Такова программа,
Таков финал – комедия ли, драма,
Но нет предела в завитках зари!

12.

Но нет предела в завитках зари.
Последняя секунда безразмерна.
Я у реки. Мне десять лет, наверно.
Ночной бульвар. Мелькают фонари.

Я в кабинете. Надпись на двери.
Горит вокзал. Взрывается цистерна.
Салют в столице.
Ты стройна. как серна.
Оркестр в лесу играет попурри...

Тоннель. Полет.
И свет на третьи сутки.
Я умер. Я родился. В промежутке
Мне смерть преподнесла видеоклип.

Пусть наобум всю жизнь перемотала,
Но фильм не оборвался, не погиб,
И нет конца. как не было начала.

13.

И нет конца, как не было начала,
И бесконечность – вся внутри котла...
В небесном куполе – колокола,
Лицо Земли прекрасно без забрала.

Вовек линейка не соединяла
Два времени, два трепетных крыла,
На нить одну еще не нанизала
Звезду и атом некая игла.

Кончается земная кали-юга.
Я чувствую космического друга.
Все смертны. Да не все. Сокрыта суть

В непостоянной воле идеала.
Из мира в мир указан узкий путь.
Нырнула жизнь в себя и свет достала.

14.

Нырнула жизнь в себя и свет достала,
И речь, и счет при этом сберегла:
Изъять нельзя ни буквы, ни числа –
Все существует как существовало.

Яйцо Вселенной, истины лекало.
Спиральная шкала добра и зла...
Цель не видна, но к ней летит стрела.
Как уловить идею сериала?

Все проще, чем я думал. На вопрос
Ответит измерение иное...
Но этих, этих глаз мне жаль до слез.

Желанье жить – желание святое.
Смерть попирая, впереди Христос,
Когда, дрожа, слились во мраке двое.

15.

Когда, дрожа, слились во мраке двое –
Взойти звезде в утробной темноте.
Стремится материнство мировое
К единству в бесконечной полноте.

Дитя есть дань первичной чистоте,
Любовь – игра и чудо роковое.
Ты – царь, построив кров над головою,
Но Бог – и тот распят был на кресте.

Призвание, обязанность и дело!
Отдельно – вызревание внутри.
Вдруг седина, предвестница предела,

Но нет предела в завитках зари,
И нет конца, как не было начала.
Нырнула жизнь в себя и свет достала.

Гость номера

Владимир Алейников:
«От разбоя и бреда вдали»

– Начнем с ваших первых стихотворений. Помните ли вы самое первое, начальные шаги в поэзии? В каких условиях вы писали, чем, на чем?

– В детстве, когда мне было семь или восемь лет, на Украине, в Кривом Роге, написал я свои первые стихи. Летом 1954 года, на Кавказе, когда я впервые увидел море, стихи появились вновь. Наверное, от изумления перед раскрывающимся миром. Некоторые строки помню до сих пор. Позже, в школьные годы, я вовсю писал прозу – фантастику, приключения. Рисовал. Занимался музыкой.

Стихи пришли в 1960 году. Сами. В 1961 году писал я и стихи, и прозу. Писания мои были наивными. Но необходимость выразить всё, что меня переполняло, в слове – оказалась огромной. Весной 1962 года я участвовал в конкурсе, объявленном Домом Учителя, и получил первую в жизни премию, за стихи. Вскоре, в городской газете, появилась первая моя публикация стихов. Я познакомился с молодыми криворожскими поэтами. Да и сам осознал себя – поэтом. Писал я тогда постоянно. Стихи мои становились всё лучше. Я это понимал.

Осенью 1962 года в наш город приехал Микола Винграновский, выдающийся украинский поэт, на мой взгляд – наиболее значительный, после Павла Тычины. На встрече с ним, в редакции газеты, я почитал тогдашние свои стихи. Винграновский сказал мне очень серьёзно: «Если бы я в шестнадцать лет писал такие стихи, какие пишете вы, я считал бы себя гением». Наша группа молодых поэтов была очень яркой. В ней был я самым младшим по возрасту. Мы часто виделись, читали друг другу стихи, обсуждали их. Это была хорошая школа. Друзьям показывал я примерно треть написанного.

Начали меня печатать в украинских газетах. В 1963 году, в период хрущёвских гонений на формализм, на наше поэтическое сборище пришли киевские литераторы, поэт и критик, послушали, что мы читали, а с утра отправились прямиком в горком партии, с доносом. Появились разгромные статьи в газетах. Начались неприятности. Но в дальнейшем всё как-то обошлось, заглохло. Молодые поэты были тогда – нужны.

И в начале 1964 года меня пригласили участвовать в совещании молодых литераторов Приднепровья, на котором стихи мои произвели фурор. Меня уговаривали приехать в Киев, учиться в университете, обещали помощь. Но я уехал в Москву. И поступил на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Осенью 1963 года я довольно долго жил в Москве – и познакомился со многими интересными и даже замечательными творческими людьми, которым благодарен я, за их внимание ко мне и за их понимание. С теми из них, которые живы, дружу я и сейчас.

Особого желания знакомиться со знаменитостями у меня не было. Но к Андрею Вознесенскому я, семнадцатилетний, всё же пришёл. Он вскоре сказал мне: «Володя, вы очень талантливы. Приходите ко мне в любое время. Вам я всегда рад». И я мгновенно понял, что показывать ему стихи больше не надо. Мне всегда была дорога независимость. К тому же, в те времена, у меня уже были свои читатели и слушатели. Их мнение о моих писаниях было чрезвычайно важно для меня. Писал я стихи – и пишу – всегда от руки, и в тетрадях, и на отдельных листах бумаги, в любых, даже самых сложных условиях. В прежнюю эпоху – перепечатывал тексты на пишущей машинке, и они расходились в самиздате. Ныне – перепечатываю тексты на компьютере.

– Если можно, о СМОГе. Какова была роль тех или иных людей в его создании?

– Осенью 1964 года был я уже известен в Москве. Подружился с поэтом Леонидом Губановым. Я говорил ему, что надо создать группу талантливых единомышленников, сплотиться. Идея СМОГа была – моей. Губанов – придумал слово. СМОГ. Пароль, девиз, клич. Знак поколения. Было это в январе 1965 года. СМОГ – аббревиатура. Смелость, Мысль, Образ, Глубина. Позадиристее – Самое Молодое Общество Гениев. СМОГ – это я и Губанов. Все остальные – потом. Народу в СМОГе было множество. Надо выделить Юрия Кублановского, Аркадия Пахомова, Сашу Соколова, Арсения Чанышева, Николая Бокова, Александра Морозова.

Содружество наше было пёстрым, разношёрстным. Губанов любил «примагничивать» к себе людей. Вот и тянулись к нам всякие оглоеды. Это меня раздражало. Стадность мне противна. Я всегда был сторонником творчества, но вовсе не многолюдного бурления. Некоторые малоприятные субъекты норовили втянуть СМОГ в политику. Ничего хорошего в прежние времена это не сулило. Странно, что и ныне о СМОГе часто пишут, как о группе правозащитников, а вовсе не о содружестве творческих людей. Это недоразумение давно пора прекратить. В СМОГе главным и важнейшим было – творчество. Со временем случайные люди отсеялись. Но появились в нашем кругу, а вернее – в моём кругу, потому что у Губанова были свои соратники, а у меня свои, – новые друзья. В СМОГе, помимо поэтов и прозаиков, участвовали и художники. Власти – норовили разгромить наше содружество. Неприятностей и сложностей у меня было столько, что не хочется о них говорить.

Но СМОГ наш – существует и сейчас. Потому что мы, те, кто выжили, выстояли, те, кто сумели состояться как творческие личности, всегда находимся под знаменем СМОГа. К сожалению, многих друзей нет уже на свете. Но мы, живые, продолжаем работать. Раньше мои тексты широко расходились в самиздате. Четверть века меня не издавали на родине. Публикации появлялись только на Западе. Меня изгоняли из МГУ, потом восстанавливали. Пытались заманить в созданные при союзе писателей секции по работе с молодыми поэтами, приняли туда без всякого конкурса. В феврале 1966 года устроили мой вечер в Доме литераторов, на котором один пылкий деятель заявил: «Кого мы видим перед собой, товарищи? Мы видим нашего молодого советского гения!» Но на публикации моих текстов на родине был наложен запрет. И меня вполне устраивала моя известность в самиздате.

Травили меня долго, изощрённо, а порою и жестоко. У меня семь сотрясений мозга, которые мне устраивали, нередко – после моих чтений стихов на людях. В семидесятых годах целых семь с половиной лет я скитался по стране, бездомничал. Голодал, перебивался случайными заработками. Но всегда, в любых условиях, упрямо работал – писал свои тексты. Стихи мои – были нужны людям. И в различных городах находил я и приют, и понимание. Прежняя эпоха была оформлена. Стихи прекрасно воспринимались современниками с голоса. Я часто, охотно читал стихи в различных аудиториях. Приходилось работать – в экспедициях, в школе, грузчиком, дворником, в редакции многотиражной газеты, и так далее. Нет особой нужды перечислять все эти должности.

Когда у меня появилась семья, надо было как-то зарабатывать – и я писал передачи для радио, стихи и сказки для детей, писал внутренние рецензии в нескольких издательствах. Потом, в начале восьмидесятых, занялся переводами поэзии народов СССР. Это меня выручило. Такой мой статус власти вполне устраивал. Иногда мне казалось, что я всю жизнь буду кого-то переводить. Я стремился к тому, чтобы переведённые стихи жили в стихии русской речи. И переводил хорошо. Выходили сборники моих переводов, постоянно появлялись публикации в центральной периодике, в союзных республиках. Ко мне стояла очередь национальных поэтов, желающих, чтобы их стихи перевёл именно я. Но в 1990 году заниматься переводами я прекратил. Слишком уж много своего вкладывал я в эти тексты.

В период перестройки понемногу начали публиковать мои стихи, вышли три моих сборника стихов, изуродованные цензурой, и никакой радости эти издания не принесли. Но вот настала пора свободного книгопечатания. Груз написанного за долгие годы тяготил меня. Друзья хорошо это знали. В начале девяностых вышли, наконец, в подлинном виде, мои большие книги стихов.

С 1991 года живу я в основном в Коктебеле – и очень много работаю. Здесь, помимо стихов, пишу я свою серию книг прозы «Отзывчивая среда» – о былой эпохе, о людях этой эпохи, моих друзьях и соратниках по нашему андеграунду. Это вовсе не простенькие воспоминания, а проза поэта – свободная, ассоциативная, со своей полифонией, с особым движением речи. В начале нового века снова начали выходить мои книги прозы и книги стихов. Появились журнальные публикации. Никаким пристройством своих писаний сроду я не занимался. Всё получалось как-то само собою. Точно так же образовывались и различные литературные премии. В Москве я бываю редко. В Коктебеле – живу затворником. Работа – панацея от всякой всячины. Именно в ней – спасение, для меня.

– В вашей новой книге, есть очень интересные главы о «трех Наташах». Можно ли кратко сказать об этом? И об Арсении Тарковском?

– О своей новой книге не буду рассказывать, потому что она ещё не издана. Среди «трёх Наташ» – Наталья Горбаневская и Наталья Светлова-Солженицына, давние мои подруги, с которыми я дружил в шестидесятых. Арсений Александрович Тарковский в конце 1965 года помог мне восстановиться в МГУ. Он уже тогда высоко ценил мои стихи.

– Владимир, вы живете в Коктебеле, Москва – более для кратких приездов. Как вы стали жить в этом удивительном месте, с какими замечательными людьми оно вас сблизило, что для вас Коктебель?

– В Коктебеле я впервые оказался в мае 1964 года – и сразу понял, что когда-нибудь буду здесь жить. С тех пор бывал я в Коктебеле часто. Я хорошо знал Марию Степановну Волошину, дружил с Марией Николаевной Изергиной. Знал и других людей круга Волошина. В Старом Крыму – знал Нину Николаевну Грин, поэта Григория Николаевича Петникова, председателя Земного Шара, друга Велимира Хлебникова. Коктебель – благословенное и благодатное место. Здесь – небывалая, светлая энергетика. Здесь жив – дух.

– Ваши произведения замечательны. С полным основанием вас называют гением, великим поэтом. Это выражается и в огромном творческом наследии, во все новых и новых книгах. Что вы скажете об устройстве этого особого мира ваших стихов?

– Я пишу более пятидесяти лет. И создал свой мир, живой, границы которого всё разрастаются. Слава Богу, многие достойные люди это понимают. Среди нынешних литераторов я иногда чувствую себя инопланетянином. Вся наша прежняя неофициальная поэзия, проза, живопись, музыка – это другая планета, разительно отличающаяся от всего разрешённого, официального. В мой мир – надо просто войти. И жить в нём. Наверное, стихи мои – достаточно сложные. Но есть в них и только им присущие свойства. Я давно и твёрдо знаю, что мои стихи – помогают людям жить. О собственных писаниях слышал я и читал столько разных довольно высоких слов, что не вижу смысла кичиться этим. Людей за язык никто не тянул. Что считают нужным сказать – то и говорят. Сам я всю жизнь стараюсь, по своим возможностям, помогать хорошим, талантливым людям, и с публикациями, и добрым словом.

– По собственному опыту знаю, сколь различна технология написания стихов и прозы, и насколько они едины по своей сути. Ваша проза необычна, каковы ее особенности на ваш взгляд?

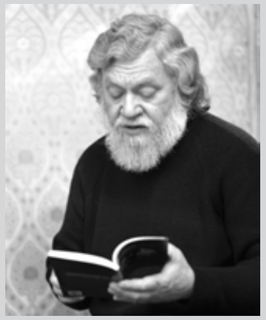
– Свои стихи и прозу я не разделяю. Проза моя такова, что это зачастую – поэзия. Как это получается – невозможно объяснить. Писания мои можно разделить на несколько творческих периодов. Нынче – новый период, со своими особенностями. Прежде всего меня интересует – речь, движение речи. Речь – «наше всё». Поэтому и взаимосвязаны мои стихи и моя проза, жанр которой пытаются определить литературоведы. В моей прозе есть – музыка. По своей структуре этой музыкальные, полифонические произведения. Поэтому своим учителем я считаю Иоганна Себастьяна Баха.

– И последнее – какие ваши книги выходят, что ждет издания?

– Знаю, что новые мои книги стихов и прозы будут изданы. Говорить о них заранее не стану. Книги пусть сами говорят за себя. Добрая половина моих писаний доселе не издана. Мне надо работать. Речь – живая вселенская материя. Постараюсь расширить её возможности. Всё остальное придёт потом.

Беседу с В.Д. Алейниковым вёл прозаик и поэт М.И. Горевич (Михаил Микаэль)

Гость номера



Владимир Алейников

Поэт, прозаик, переводчик, художник. Родился в 1946 году. Один из основателей и лидеров содружества СМОГ. В советское время публиковался только в зарубежных изданиях. Переводил поэзию народов СССР. Стихи и проза на Родине стали печататься в период Перестройки. Публиковался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Континент», «Огонек», «НЛО» и других, в различных антологиях и сборниках. Автор многих книг стихов и книг прозы. Лауреат премии имени Андрея Белого и Литературной Бунинской премии. Живет в Москве и Коктебеле.

* * *

От разбоя и бреда вдали,
Не участвуя в общем броженье,
На окраине певчей земли,
Чей покой, как могли, берегли,
Чую крови подспудное жженье.

Уж не с ней ли последнюю связь
Сохранили мы в годы распада,
Жарким гулом её распаляясь,
Как от дыма, рукой заслоняясь
От грядущего мора и глада?

Расплескаться готова она
По пространству, что познано ею –
Всею молвью сквозь все времена –
Чтобы вновь пропитать семена
Закипающей мощью своею.

Удержать бы зазубренный край
Переполненной чаши терпенья! –
Не собачий ли катится лай?
Не вороний ли пенится грай?
Но защитою – Ангелов пенье.

* * *

Когда в провинции болеют тополя,
И свет погас, и форточку открыли,
Я буду жить, где провода в полях
И ласточек надломленные крылья,
Я буду жить в провинции, где март,
Где в колее надломленные льдинки
Слегка звенят, но, если и звенят,
Им вторит только облачко над рынком,
Где воробьи и сторожихи спят,
И старые стихи мои мольбою
В том самом старом домике звучат,
Где голуби приклеены к обоям,
Я буду жить, пока растает снег,
Пока стихи не дочитают тихо,
Пока живут и плачутся во сне
Усталые, большие сторожихи,
Пока обледенели провода,
Пока друзья живут, и нет любимой,
Пока не тает в мартовских садах
Тот неизменный, потаённый иней,
Покуда жилки тянет на висках,
Покуда небо не сравнить с землёю,
Покуда грусть в протянутых руках
Не подарить – я ничего не стою,
Я буду жить, пока живёт земля,
Где свет погас, и форточку открыли,
Когда в провинции болеют тополя
И ласточек надломленные крылья.

* * *

Я провожаю корабли,
Меня вот так не провожали, –
Их длинный след огни внесли
Строкой начальной на скрижали.

Всё опустело до утра,
Пришла вечерняя прогорклость –
И, как осенняя пора,
Предчувствием сковала горло.

Сейчас и песня не близка,
Хотя она в ночном дозоре,
И близоруко маяка
Не превратится в дальнозоркость.

И, от раздумий далека,
Подобно затаённой боли,
Стирается, как след мелка,
Сухая линия прибоя.

От невозможности расплакаться
Портовый город очень тих, –
Да будут встречи мне расплатою
За то, что выше сил моих,

За то, что мне никто не дарит
Закономерностей земли,
За то, что всё-таки недаром
Я провожаю корабли.

* * *

Где в хмельном отрешении пристальны
Дальнозоркие сны,
Что служить возвышенью призваны
Близорукой весны,
В обнищанье дождя бесприютного,
В искушенье пустом
Обещаньями времени смутного,
В темноте за мостом,
В предвкушении мига заветного,
В коем – радость и весть,
И петушьего крика победного –
Только странность и есть.

С фистулою пичужьею, с присвистом,
С хрипотцой у иных,
С остроклювым взъерошенным диспутом
Из гнездовий сплошных,
С перекличкою чуткою, цепкою,
Где никто не молчит,
С круговою порукою крепкою,
Что растёт и звучит,
С отворённою кем-нибудь рамою,
С невозвратностью лет
Начинается главное самое –
Пробуждается свет.

Утешенья мне нынче дождаться бы
От кого-нибудь вдруг,
С кем-то сызнова мне повидаться бы,
Оглядеться вокруг,
Приподняться бы, что ли, да ринуться
В невозвратность и высь,
Встрепенуться и с места бы вскинуться
Сквозь авось да кабысь,
Настоять на своём, насобачиться
Обходиться без слёз,
Но душа моя что-то артачится –
Не к земле ль я прирос?

Поросло моё прошлое, братие,
Забытьём да быльём,
И на битву не выведу рати я
Со зверьём да жульём,
Но укроюсь и всё-таки выстою
В глухомани степной,
Словно предки с их верою чистою,
Вместе с речью родной,
Сберегу я родство своё кровное
С тем, что здесь и везде,
С правотою любви безусловною –
При свече и звезде.

* * *

Конечно же, это всерьёз –
Поскольку разлука не в силах
Решить неизбежный вопрос
О жизни, бушующей в жилах,
Поскольку страданью дано
Упрямиться слишком наивно,
Хоть прихоть известна давно
И горечь его неизбывна.

Конечно же, это для вас –
Дождя назревающий выдох
И вход в эту хмарь без прикрас,
И память о прежних обидах,
И холод из лет под хмельком,
Привычно скребущий по коже,
И всё, что застыло молчком,
Само на себе непохоже.

Конечно же, это разлад
Со смутой, готовящей, щерясь,
Для всех без разбора, подряд,
Подспудную морось и ересь,
Ещё бестолковей, верней –
Паскуднее той, предыдущей,
Гнетущей, как ржавь, без корней,
Уже никуда не ведущей.

Конечно же, это исход
Оттуда, из гиблого края,
Где пущены были в расход
Гуртом обитатели рая, –
Но тем, кто смогли уцелеть,
В невзгодах души не теряя,
Придётся намаяться вдрызг,
В ненастных огнях не сгорая.

* * *

Всё дело не в сроке – в сдвиге,
Не в том, чтоб, старея вмиг,
Людские надеть вериги
Среди заповедных книг, –
А в слухе природном, шаге
Юдольном – врасплох, впотьмах,
Чтоб зренье, вдохнув отваги,
Горенью дарило взмах –
Листвы над землёй? крыла ли
В пространстве, где звук и свет? –
Вовнутрь, в завиток спирали,
В миры, где надзора нет!

Всё дело не в благе – в Боге,
В единстве всего, что есть,
От зимней дневной дороги
До звёзд, что в ночи не счесть, –
И счастье родного брега
Не в том, что привычен он,
А в том, что устав от снега,
Он солнцем весной спасён, –
И если черты стирали
Посланцы обид и бед,
Не мы ли на нём стояли
И веку глядели вслед?

* * *

Она без возраста, душа,
Но так идёт ей, право слово,
Всё то, чем юность хороша, –
И молодеть она готова.

Да только зрелость – грустный рай,
В котором всякое бывает, –
И чувства, хлынув через край,
Свой тайный смысл приоткрывают.

Гостят у вечности года,
Минут позванивают звенья, –
И не постигнуть никогда
Того, чем живы откровенья.

Но что же всё-таки зовёт
Из бормотанья и камланья,
Покуда вдруг не прослывёт
Не удержавшимся за гранью?

И что за отзвук различим
В темнотах этих и просветах,
С тобою впрямь неразлучим,
Залогом песен не отпетых?

То весть, дошедшая с трудом
Из галактического плена,
Что реки будит подо льдом
И кровью вспаивает вены.

* * *

Ты думаешь, наверное, о том
Единственном и всё же непростом,
Что может приютиться, обогреться,
Проникнуть в мысли, в речь твою войти,
Впитаться в кровь, намеренно почти
Довлеть – и никуда уже не деться.

И некуда бросаться, говорю,
В спасительную дверь или зарю,
В заведомо безрадостную гущу,
Где всяк себе хозяин и слуга,
Где друг предстанет в облике врага
И силы разрушенья всемогущи.

Пощады иль прощенья не проси –
Издревле так ведётся на Руси,
Куда ни глянь – везде тебе преграда,
И некогда ершиться и гадать
О том, кому радеть, кому страдать,
Но выход есть – и в нём тебе отрада.

Не зря приноровилось естество
Разбрасывать горстями торжество
Любви земной, а может, и небесной
Тому, кто ведал зов и видел путь,
Кто нить сжимал и века чуял суть,
Прошедши, яко посуху, над бездной.

* * *

Век не гулянье и кровь не вода,
Верность и та запоздала,
Время пройдёт – и не сыщешь следа,
Где красота отрыдала.

Время вплеснётся – и вытянет нить,
Свяжет узлы и событья, –
В чём же ненастье ты хочешь винить
С нечистью, с волчьею сытью?

В том ли, что часто встречались они
В трудную пору, в дороге?
Время встряхнётся – и прежние дни
Кажутся чище в итоге.

Век ненасытен – и поздно вставать
На перепутье дозором, –
Время взгрустнёт – и нельзя горевать,
Глядя на пламя с укором.

Ходишь и смотришь – и дальше ходи
Там, за рекою рябою,
Слышишь и видишь – и дальше веди
Всех, кто пойдёт за тобою.

Хочешь и можешь – и должен пройти
Весь лабиринт становленья,
Чуешь и веришь – и должен в пути
Всех оставлять в изумленье.

Проще смотри на земные дела,
Реже советчиков слушай,
Чаще молись, чтобы вера вела
Кромкой меж морем и сушей.

Шире объятья для речи раскрой,
Душу свою сберегая,
Чтобы вон там, за Святою горой,
Эра встречала другая.

* * *

Покуда я сам не узнаю, куда
Уходит за памятью время,
Ночная звезда и морская вода
Со мной – но не вместе со всеми.

Покуда я сам не изведаю здесь,
Откуда берутся истоки,
Я вынесу бремя и выпрямлюсь весь
Внезапно, как свет на востоке.

Покуда я сам не открою ларцы,
Где свитки седые хранятся,
Пора не пройдёт, где волчицы сосцы
Не млеком, а кровью струятся.

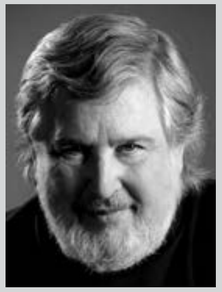
Волчица степная, лихая пора,
Закатная, грозная эра!
Кого это тянет уйти со двора
Какая-то, право, химера?

Кого это ветром прибило к окну,
Засыпало солью и пылью,
Обвеяло пеплом у века в плену,
Чтоб завтра призвать к изобилью?

Кого это выдуло вихрем из нор,
Изрезало бритвами споров?
И чей это пот проступает из пор,
И чей это скалится норов?

Не всё ли равно мне? – я сам по себе –
И я не участник хаоса –
И вовсе не тень проскользнёт по судьбе,
Но листьев круженье с откоса.

Я буду разматывать этот клубок,
Покуда не вырастет следом,
Чутьём и наитьем высок и глубок,
Тот мир, что лишь вестникам ведом.



Ян Бруштейн

Поэт, прозаик, Член Союза российских писателей и Союза писателей 21 века. Живёт в Иванове. Стихи и рассказы печатались в журналах «Юность», «Знамя», «Дружба Народов», «Волга», «Дети Ра», «Зинзивер», «Сибирские огни», «День и Ночь», «Крещатик», «Футурум Арт», в «Литературной газете» и в других изданиях. Автор пяти книг, лауреат премий журнала «Зинзивер» и газеты «Поэтоград», конкурса им. Н.Гумилёва, дипломант Волошинского конкурса.

Лунная дорога

Когда я по лунной дороге уйду,
Оставлю и боль, и любовь, и тревогу,
По лунной дороге, к незримому Богу
Искать себе место в беспечном саду,
По лунной, по млечной...
И легок мой шаг,
Пустынна душа, этим светом омыта,
По лунной дороге, вовеки открытой,
Легко, беспечально, уже не спеша,
Уже не дыша…
И мой голос затих.
Два пса мне навстречу дорогой остывшей,
И юный - погибший, и старый – пожвивший,
И белый, и рыжий. Два счастья моих.

А раны затянутся в сердце моем,
Мы вместе на лунной дороге растаем –
Прерывистым эхом, заливистым лаем.
И всё. Мы за краем. За краем. Втроем.

Ныряющий с моста

Ныряющий с моста бескрыл,
печален, вечен.
Взлетающий из вод – хитер и серебрист.
И встретятся ль они, когда остынет вечер,
Когда забьется день, как облетевший лист?
Ныряющий с моста, крича, протянет руки,
Но унесет его резины жадной жгут,
Туда, где у воды дебелые старухи
Намокшее белье ладонями жуют.
Взлетающий из вод без видимой причины
Застынет, закричит, затихнет и умрет:
Его стреляют влет солидные мужчины,
Там, где летит к земле горящий вертолет,
Где непослушный винт закатом перерезан,
Где не узнаешь зло, и не найдешь добро...
Ныряющий с моста стоит,
до боли трезвый,
И смотрит, как река уносит серебро.

Другая вода

Кривые дорожки на горькой воде
Уводят незнамо куда.
И быть бы беде, но неведомо где
Бывает другая вода.
Ни страхом, ни ложью не пахнет она,
Я лучше не видывал вод.
И нет у неё ни причала, ни дна,
Где прошлый покоится флот.
Поскольку исчезли ловцы и крюки,
Здесь рыбы водиться могли б,
Но в бездне морской или в водах реки
Вовек не найдете вы рыб.
А ветер томится своей суетой
И гаснет, о камни шурша.
И только молчит над остывшей водой
Неспящая ваша душа.

Окраина. Монолог женщины

С битьем посуды, с криком и гульбой,
С трясущимися жадными руками –
Такой ко мне пришла твоя любовь,
Такую заработали мы сами.
Окраинный невозмутимый быт,
И руки у парней – пожестче терки,
А челками зашторенные лбы
Тверды, как наши темные задворки.
Но утром ты сказал: «Меня прости …»
Задумался, добавил мрачно: «Детка»,
И спряталась рука в твоей горсти –
И было на тебя не наглядеться.

… Как схоронили – я и детвора,
Сгоревшего в работе непомерной,
И как потом гуляло пол двора,
С битьем посуды, яростно и скверно,
И как наутро сын, пьяней вина,
Привел в наш дом испуганную Люду…
Наверное, была моя вина,
Что не сумела вырваться отсюда.
Что этот прах не отряхнула с ног,
Что всех тянула, ломовая дура…
Но по-отцовски громко спит сынок,
И вот под боком скрючилась дочура.
И можно, тихо вспомнив, расцвести
Среди вот этой жизни, злой и едкой –
Как нежно он сказал: «Меня прости»,
И как чудесно он добавил: «Детка…»

Сухари

А бабушка сушила сухари,
И понимала, что сушить не надо.
Но за ее спиной была блокада,
И бабушка сушила сухари.

И над собой посмеивалась часто:
Ведь нет войны, какое это счастье,
И хлебный рядом, прямо за углом…
Но по ночам одно ей только снилось –
Как солнце над ее землей затмилось,
И горе, не стучась, ворвалось в дом.

Блокадный ветер надрывался жутко,
И остывала в памяти «буржуйка»…
И бабушка рассказывала мне,
Как обжигала радостью Победа.
Воякой в шутку называла деда,
Который был сапером на войне.

А дед сердился: «Сушит сухари!
И складывает в наволочку белую.
Когда ж тебя сознательной я сделаю?»
А бабушка сушила сухари.

Она ушла морозною зимой.
Блокадный ветер долетел сквозь годы.
Зашлась голодным плачем непогода
Над белой и промерзшею землей.

«Под девяносто, что ни говори.
И столько пережить, и столько вынести».

Не поднялась рука из дома вынести
Тяжелые ржаные сухари.

Тени

Когда кривая вывезет меня
Туда, где буераки и овраги,
Где дикие собаки ищут драки,
Где о весне мечтают семена,—
Увижу, как, пугливо семеня,
Спешат укрыться под корягой раки,
И хищной птицы быстрые атаки
Уносят жизни на излёте дня.

И в том краю, где ада нет и рая,
Тебя я вспомню, злясь и обмирая
От нежности, которой столько лет.

Тогда отступят вежливые тени,
И, всё поняв и одолев смятенье,
Я позову — и получу ответ.

* * *

Душа наладилась в дорогу.
Я умер. Плоть моя тиха.
В пространстве тают понемногу
Слова последнего стиха.
Грехи, привязанности, страхи
Уже не тукают в груди.
Не рву я ворот у рубахи,
Не рвусь за тем, кто впереди.
Ни за кого я не в ответе,
Уже не должен никому.
Я тихо смылся на рассвете,
Тюрьму оставив и суму.
Перегоняя птичью стаю,
Кричу я вам издалека:
Как хорошо, я улетаю,
Пока, родимые, пока!
Но слышу я — взывает кто-то
Иерихонскою трубой:
Пора, бродяга, на работу!
Вставай. Иди. И Бог с тобой…

Михаил Юдовский

Родился 13 марта 1966 года в Киеве. После школы учился в художественно-промышленном техникуме и институте иностранных языков. С 1989 года – свободный художник. В 1992 году переехал в Германию. Выставлял свои живописные работы в странах СНГ, Европы и Америки. Поэзия и проза автора опубликована в Украине, России, Германии, Англии, Израиле и США. Многократный призёр различных литературных конкурсов.

* * *

Город среди пустыни,
Зноя густой миазм.
К вечеру боль остынет,
Словно угасший разум.

Небо темно и немо.
Пальмы чернеют стройно.
Жители Вифлеема!
В городе всё спокойно.

Тихо скрипят ступени
Каждой неровной гранью.
Перемешались тени
С факелами и бранью.

Медью мерцают шлемы,
Блещут мечи разбойно.
Жители Вифлеема!
В городе всё спокойно.

Вместе с календарями
Гибнут простые даты.
Начатое царями
Довоплотят солдаты.

Судеб размытых схемы
Правят резня и войны.
Жители Вифлеема!
В городе всё спокойно.

Высится государство.
Люди – его подножье.
Дети – цена за царство.
Но не за Царство Божье.

Пусто в садах Эдема.
Лезвием мир распорот.
Жители Вифлеема!
Вы потеряли город.

* * *

В безбыльи есть безболье.
Не чувствуя лица,
Я рад случайной ролью
Забыться до конца.

Лишенный постоянства,
Отведал я сполна,
Как призрачны пространства
И чужды времена.

На полдороги к раю
Застывший на краю,
Я чью-то роль играю,
Но только не свою.

Судьбу свою, как крошку,
С лица земли смету,
Я гибну понарошку,
Прожив полшутя.

* * *

Если сбудется пророчество
И, как сказано тобою,
Я вернусь из одиночества,
Словно выйду из запоя,

Если встретив, полупьяного,
Неспособного лелеять,
Ты захочешь склеить заново
То, что заново не склеить,

За оторванность от внешнего,
За мое немногословье,
Извини меня, невешнего
После долгого зимовья.

Хоть во мне печали нет, но я
Под чужими небесами
Существо инопланетное
С удивленными глазами.

Я запутался во времени,
Переписывая строфы.
Сколько лет от сотворения?
Сколько зим до катастрофы?

Ты по свету проведи меня
От подножья до подножья.
Нет пути исповедимее,
Чем глухое бездорожье.

Не отыщется искомое.
Беспросветно нищий духом,
Этот мир, как насекомое,
У тебя жужжит под ухом.

Предрекают нам безвестьями
Безымянные пророки,
Что отныне будем вместе мы –
Будем вместе одиноки.

* * *

Я мог бы пригласить тебя сюда,
В тот мир, не обозначенный на карте,
Где нет держав и тают города,
Как хлопья снега, выпавшего в марте.

Где с вечностью играя в поддавки
И разменяв столетья на моменты,
Я скромно обживаю островки,
Нечаянно сростив их в континенты.

Я здесь ни от небес, ни от земель
Не жду ни подаянья, ни наследства.
Когда ненужной делается цель,
Становятся бессмысленными средства.

Пространство открывает ипостась
Не сделавшего шаг канатоходца.
И кажется, что жизнь не началась.
И никогда, быть может, не начнется.

* * *

К светлому пику из темных низов
Движась по кругу,
В полночь влюбленные стрелки часов
Жмутся друг к другу.

То ли разлад превращается в лад,
То ли, похоже,
Преобразиться готов циферблат
В брачное ложе.

Вечно в движении, вечно в пути,
Вечно хотело
В этом пространстве подобье найти
Гибкое тело.

Это судьба, что по свету вела,
Дарит нам помощь.
Слышишь, как бесятся колокола,
Празднуя полночь?

Словно желают сказать напрямик
Боем ударным:
Время без времени только на миг
Отдано в дар нам.

Спаяны стены в глухие углы,
Воздух натянут.
Мы из разрозненных нитей узлы
Вяжем на память.

Только зияют в сплетеньи узла
Признаки фальши.
…Стрелка со стрелки беззвучно сползла,
Двигаясь дальше.

* * *

Мой друг, мне хорошо и беспечально
Следить за январями с февралями.
Нам также предстояло изначально
Обмениваться с кем-нибудь ролями.

С историей шагая по спирали,
Не ведая, что истинно, что ложно,
Мы столько раз с тобою умирали,
Что смертью удивить нас невозможно.

Обратно перелистывая даты,
Ты собственное видишь отраженье.
Мы – те же безымянные солдаты
В окопах безымянного сраженья.

Едва ли истощится наша сила,
Едва ли завершится эта битва.
Земля – всего лишь братская могила.
А небо – поминальная молитва.

Мы повторимы. Мы неповторимы.
И снегом закружив неуловимым,
Уносят нас сегодняшние зимы
То к будущим, то к миновавшим зимам.

Писатель

Посвящается памяти Игоря Стина

Его фамилия для русского звучит необычно. И тем не менее Владимир Евгеньевич Гене был не только настоящим русским, но и выходцем из старинного рода российских дворян. Далекий зачинатель этого рода происходил, наверно, из иностранцев. Но многие из аристократических семей на Руси, носивших немецкие, французские или голландские фамилии, нередко оказывались более русскими по духу, чем те, кто происходил от допетровских бояр.

Свой не слишком долгий век Владимир Гене закончил в маленьком полуненецком поселке, затерявшемся в просторах Большеземельской тундры. Здесь, после долгих лет каторги в заполярном лагере, Гене работал коллектором в одной из геологических экспедиций, обследовавших побережье Карского моря. Так называется должность собирателя образцов горных пород.

Коллектор был совершенно одинок и во всей России не имел ни единого родственника или просто близкого человека. Исключение составляла только какая-то женщина, проживавшая где-то в Воркуте с мужем и детьми. Когда случалась оказия, Гене посылал ей довольно объемистые пакеты, отправляя их по почте, причем всегда «до востребования», а не для вручения адресату непосредственно. Поселок, где базировалась экспедиция, находился почти на семидесятой параллели и был отдален от сравнительно обжитых районов Севера чуть не тремястами километров бездорожья, преодолеть которые большую часть года могли только гусеничные тракторы. Тогда, в середине пятидесятых годов, не только вертолеты, но и вездеходы не вошли еще в широкое употребление.

Пожилого и хмурого собирателя камней его товарищи по работе считали угрюмым, замкнутым и необщительным человеком, вечно думающим какую-то тяжелую думу и занятым чем-то своим. Коллектор жил в крохотной избушке на краю поселка с железной печкой посредине и запыленной голой лампочкой под потолком. Электричество здесь было. Им снабжала поселок, хотя и не очень регулярно, передвижная электростанция экспедиции.

Кроме подобия низких полатей для разбора минералогической добычи в коллекторской находилась еще только вечно неубранная койка, маленький некрашеный стол и две колченогие табуретки. В углу за дверью всегда стояли пустые бутылки из-под спирта. Коллектор считался хорошим работником, но сильно пил. Правда, не так, как все другие здесь. Он пьянствовал угрюмо, бесшумно и в одиночку, запершись в своей избушке и не выходя из нее иногда по нескольку дней. С увещеваниями и взысканиями за это к нему не приставали. Демонстрировать общественную заботу о моральном облике работника здесь было почти некому и не перед кем. А главное – Гене, когда не пил, работал за двоих. Про него знали еще, что, когда коллектор не бродит по тундре со своим мешком для камней и молотком на длинной ручке и ночует не в поле, а в своей избешке, он что-то пишет. Что именно, не знали, однако на всякий случай прозвали его Писателем. Прозвище, конечно, носило иронический характер и употреблялось только за глаза. Зубоскалить в открытую над неулыбчивым, одиноким человеком никому как-то и в голову не приходило.

За угрюмую необщительность и даже за необщепринятый род пьянства Писателя не осуждали. То и другое весьма естественно объяснялось его невеселым прошлым. Сын белоэмигрантов, вывезенный еще в отроческом возрасте в далекую Маньчжурию, Гене добровольно вернулся на родину в середине тридцатых годов. К этому времени он служил в Харбине в управлении Китайско-Восточной железной дороги, бывшей до 1935 года советской концессией на территории Маньчжоу-Го. Так именовалась в те годы бывшая окраина Небесной Империи, а впоследствии русская колония, превращенная теперь в марионеточное государство, целиком подвластное Японии. После того как СССР был вынужден, практически безвозмездно, передать КВЖД в полную собственность Маньчжоу-Го, несколько десятков тысяч ее русских служащих выразили желание выехать в Советский Союз. Нельзя сказать, что японо-маньчжурские власти понуждали их к этому. Скорее наоборот. Заинтересованные в сохранении опытных кадров, японцы всячески старались их задержать, хотя, согласно одному из условий договора о передаче концессии, они не могли делать этого насильно. Русских, однако, предупреждали, что на родине, для многих уже только родине их отцов, репатриантов ждут одни только несчастья. Большевистское правительство, а особенно его политическая полиция не доверяют людям из-за границы. А тем более тем, кого они причисляют к категории «классово чуждых». Большинство сочло это антисоветской пропагандой. Рассказы о зверствах и коварстве большевиков давно уже набили оскомину. А вот умелая советская агитация за возвращение блудных сынов России и их детей на свою, ставшую социалистической, родину находила в сердцах большинства изгнанников горячий отклик. Эта родина звала их голосом правительства СССР, обещая немедленное трудоустройство, жилье, все преимущества жизни в обществе без гнета и эксплуатации.

Владимира Гене Россия манила к себе воспоминаниями детства. Как и многие замкнутые от природы люди, он был скрытым мечтателем. Перед подачей заявления о репатриации не обошлось, конечно, без долгих раздумий и мучительных колебаний. Но память о тихих речках, расцветке осеннего леса, ветлах на проселочной дороге как-то не вязалась с представлением, что такой страной управляют жестокие и коварные обманщики. Врут японцы и стареющие вожаки белогвардейщины, которым соваться на родину, несмотря на широкую амнистию 1922 года, конечно, опасно! А место молодого русского – в России. Тут, в азиатской, так и оставшейся чужой, стране, Гене ничего не удерживало. Его родители уже умерли, а молодая жена разделяла его взгляды, хотя была русской, родившейся уже в Харбине. И хотя ей было нелегко расстаться со стариками родителями, она поехала с мужем в Советский Союз.

Здесь бывших «кавжэдинцев» встретили на вокзалах приветственными речами и оркестрами. Все они, как было обещано, были устроены и на работу, и по части жилья с явными преимуществами перед старыми советскими гражданами. Но через каких-нибудь год-полтора почти все репатрианты оказались уже в дальних лагерях заключения, где их иронически звали «кажэдинцами». От названия «литерной» статьи «КРД», по которой большинство вернувшихся на родину без суда и следствия водворялись в эти лагеря. КРД расшифровывалась как контрреволюционная деятельность. Притом не совершенная – тогда вступила бы в силу пятьдесят восьмая статья уголовного кодекса, – а могущая быть совершенной при каких-то туманных обстоятельствах. Некий заочный и тайный «суд», рассматривая бывших эмигрантов из России как потенциальную «пятую колонну» в СССР, списками по нескольку тысяч человек в каждом, приговаривал их к восьмилетнему сроку заключения в лагерях принудительного труда. К некоторым приклеивали другой «литер» – ПШ, означавший: «Подозрительный По Шпионажу» и тянувший уже десять лет срока и более строгий режим заключения, чем КРД. Гене пришили «ПШ», вероятно, как лучше других образованному человеку, да еще сыну дворянина и белогвардейского офицера.

Почти девять лет из своего «неразменного червонца» потенциальный шпион в пользу Японии валил деревья на Северном Урале, работал в карагандинских угольных копях, рыл оросительные каналы в среднеазиатских песках. Конечно, его не миновали постоянные спутники сталинских лагерей, голодное изнурение, цинга, пеллагра, не говоря уже о дизентерии, воспалении легких и прочих «случайных» заболеваниях. У Гене оставалась впереди только одна десятая часть всех этих испытаний, когда он был осужден на новые десять лет заключения На этот раз не заочно, не по общему списку и не на основании одного только подозрения, а за преступление, предусмотренное десятым пунктом пятьдесят восьмой статьи, – контрреволюционную агитацию.

Барачные стукачи донесли лагерному оперуполномоченному, что заключенный из «бывших», с нерусской фамилией пишет какую-то «книгу». Делает он это, когда в бараке все спят, лежа на своих нарах или забившись в угол сушилки для мокрой одежды. Свою толстую тетрадь Гене никому не показывает и прячет ее под барачный пол через дыру, которую когда-то проели крысы.

Тетрадь оказалась сшивкой из подобранных где только можно, тщательно разглаженных и иногда склеенных лоскутков бумаги. Тут были исписанные с одной стороны листки из счетоводных книг, вывороченные наизнанку, старые конверты и даже махорочные обертки. На них огрызком утаенного от надзирательских глаз карандаша Гене делал наброски сцен из лагерного быта. Наброски были яркие и сочные и рисовали этот быт в весьма непригляднои свете. Преступная цель их автора была ясна. Он готовил этюды для своего будущего сборника рассказов о лагере. Известно было даже тенденциозное название этого сборника – «Деревянные бушлаты». Гене имел неосторожность вывести это название на обложке своей тетради, сделанной из «цементной» бумаги. «Деревянными бушлатами» в лагере назывались гробы из горбыля, в которых хоронили умерших заключенных.

Судил Гене военный трибунал при лагерном объединении. Лагерный суд подошел к бывшему шпиону и последышу недобитых белоэмигрантских бандитов со всей возможной строгостью. Для отбывания второй десятки срока «политический рецидивист» был отправлен в только что тогда организованный, заполярный, воркутинский «Речлаг». Здесь в лагере для особо опасных политических преступников он на долгие годы стал «человеком номер...», какой именно явствовало из нашитых на его каторжанскую одежду белых прямоугольников с этими номерами.

Вторичное осуждение и водворение в спецлаг с его гнетущим режимом Гене воспринял с равнодушием отчаяния, обычного для всякого, кто в конце почти отбытого, многолетнего каторжного срока получает новый. Человеку в таких случаях всегда кажется, что пережить еще и этот срок – дело, решительно для него невозможное. И не все ли теперь равно, когда на него наденут «деревянный бушлат», через год или через три? Но прошло и пять, и шесть, и восемь лет. Потомок нескольких поколений дворян-белоручек оказался живучее, чем он сам себе это представлял, а «пути господни», как всегда, неисповедимыми. Оставалось немногим более полутора лет до начала вечной ссылки, на которую заранее были осуждены отбывшие срок в лагерях особого назначения, как Гене со многими миллионами других таких «преступников» был не только освобожден из заключения, но и полностью реабилитирован. По крайней мере формально он стал полноправным гражданином Советского Союза, вольным выбирать себе местожительство и работу.

Неподалеки с сердцем, от природы необычайно выносливым, но в условиях тяжелого труда, почти постоянного недоедания, психической угнетенности и вредного климата в конце концов сдавшим, требовали выезда из Заполярья. Гене, однако, не только не выехал с Севера, но еще глубже в него забился. Окружающие объясняли это почти самоубийственное решение угрюмой нелюдимостью бывшего каторжанина, особенно развившейся после того, как он узнал, что где-то в Красноярском крае, в таежном лагере умерла его жена. Некоторые, знавшие его немного ближе, считали, что мрачную необщительность Гене усиливает еще его склонность к запойному пьянству. От этой склонности, проявлявшейся еще в молодости, его не смогло излечить даже семнадцатилетнее вынужденное воздержание. Да и какое это лекарство, если оно сопровождается душевной депрессией, преждевременной старостью, тоской одиночества и утратой всех иллюзий и всех надежд.

При таких обстоятельствах о возвращении к старой, к тому же почти уже забытой профессии железнодорожника не могло быть и речи. Другое дело работа в какой-нибудь из многочисленных геологических партий, обследующих богатые недра Севера. Здесь особенно не наблюдают не только часов, но даже календаря. Поэтому пьянство является как бы узаконенной особенностью быта полевиков. Такое положение если не оправдывается, то объясняется многими обстоятельствами. Тут и состав полевых групп, в своей сезонной, подсобной части, обычно набранных из людей с бору по сосенке, вплоть до вчерашних уголовников; и отсутствие иных удовольствий; и действительная необходимость как-то противостоять сырости и холоду, бродячей жизни. Никакая моралистика тут, конечно, поделать ничего не может, и большому геологическому начальству не остается ничего другого, как просто «не замечать» хронического пьянства в полевых партиях. Не замечать же не трудно, так как табеля рабочих дней в поле никто фактически не ведет. Да и само понятие рабочего дня здесь так же неопределенно, как и понятие прогула. Все сказанное не только в полной, но и в особенной степени относится и к должности коллектора, который всегда несколько «сам по себе». Гене, от природы склонный к мрачному пессимизму и считавший себя безнадежным алкоголиком, счел эту должность подходящей для себя как нельзя более.

Но это была не единственная причина его добровольного отшельничества. Десятилетний срок, полученный за попытку изобразить в ярких миниатюрах уродливую действительность лагеря, не только не погасил в Гене этого стремления, но еще более его усилил. Правда, в режимном лагере он этой попытки не повторял, такая попытка была там практически невозможной. Наученный горьким опытом, он не доверял теперь ни бумаге, ни людям. И в течение многих лет угрюмо вынашивал в памяти сюжеты и формы выражения своих будущих рассказов. В этом, возможно, кроется один из секретов их предельной сжатости.

Избушку коллектора на краю затерянного в тундре маленького поселка Гене счел для себя весьма подходящей. Здесь было мало любопытных глаз и ушей, а любопытных профессионально, возможно, не было и вовсе. Времена, правда, переменились, но лишь настолько, что запретная прежде тема стала только нежелательной.

Было бы, однако, совершенно неверно думать, будто желание поведать миру о страданиях заключенных эпохи сталинского беззакония было самоцелью или хотя бы сколько-нибудь важным стимулом в творчестве Гене. Не было таким стимулом и желание известности, хотя бы посмертной. Писатель совсем не верил, что его произведения будут когда-нибудь изданы, и до конца жизни не был уверен, что они того стоят. Кроме того, как и францовский аббат Куаньяр, он считал, что будущее чуждо распрям прошлого и не способно их понять. Поэтому источать кровь сердца ради его равнодушных звеков не стоит.

И все же Гене писал. Он без конца шлифовал и переделывал свои «рассказы в ладонь», пока не достигал в них чеховской выразительности и выпуклости образов, а заложенную в произведение мысль не укладывал в одну-две фразы. Тогда приходила радость творчества. Но она всегда недолгой была и вскоре сменялась новыми терзаниями неуверенности в своих силах и неудовлетворенности.

А силы были, и недюжинные. Поздно пробудившийся в Гене, и, вероятно, только под действием драматических обстоятельств его жизни, талант художника-миниатюриста, как и всякий большой талант, мучил своего обладателя и требовал выхода. Настоящий писатель не может не писать, как не может, например, алкоголик не пить. Гене сам был алкоголиком и со свойственной этому роду больным мрачной иронией почти уравнивал обе свои страсти в их бесцельности.

И только одному человеку на свете он читал и показывал свои произведения. Это та женщина из Воркуты, которой он время от времени писал письма. Впоследствии она утверждала, что любовь к ней и была главной, хотя и тайной, причиной того, что Гене остался в Заполярье. Работу коллектора, лесника или другую отшельническую должность он мог бы найти и южнее Полярного круга. Весьма возможно, что она была права. Несомненно во всяком случае, что сама эта женщина любила покойного писателя искренне и глубоко и была тем человеком, который сохранил немногочисленные, но выразительные образцы его творчества.

Познакомились они в те месяцы, перед полным его расформированием, когда в воркутинском Речлаге был отменен сверепый режим спецлагеря и его заключенных брали теперь даже в качестве вспомогательных рабочих в геологические и топографические партии. В одной из таких партий и встретились «и. о.» коллектора группы, заключенный Гене и молодая геологичка. Она, впрочем, была уже замужем за пожилым, солидным геологом, жила в городе и имела ребенка.

Случается, что недопустимая с филистерской точки зрения разница социальных положений, возраста и характеров не препятствует, а как раз содействует сближению мужчины и женщины. В таких случаях часто приводят старинное выражение о ветре, задувающем слабый огонь и раздувающем сильный. Если же не ограничиваться столь общими аналогиями, то за объяснением подобных явлений следует обращаться к психологии, прежде всего женской. В женской психике сострадание к трагической судьбе мужчины, особенно талантливого – неважно действительным или только воображаемым является его талант, – нередко трансформируется в искреннюю и большую любовь. Если же эта любовь к тому же еще и табу, то тогда старая метафора об огне и ветре приложима уже вполне, так как романтика запретного обостряет, а, следовательно, и усиливает вспыхнувшее чувство. Объяснить ответное чувство немолодого, изголодавшегося по женской ласке и сострадению мужчины намного проще. Тут в любовь может вылиться уже одна только неизъяснимая благодарность за проявленное к нему душевное, женское тепло.

Так или иначе, но взаимная и тайная любовь возникла и оказалась устойчивой против всех ветров все еще нелегкой и неустроенной жизни. И когда Владимир Евгеньевич получил наконец право покинуть неприютные края, он уже не мог отказать себе в возможности, хотя бы изредка, встречаться со своим другом-женщиной. Это она своей верой в его талант поддержала в нем решение писать, сумела растопить многолетний лед отчужденности и скрытности, по крайней мере по отношению к ней самой, разглядеть в угрюмом и замкнутом

Георгий Демидов

Писатель, физик и инженер. Родился в 1908 г. в Петербурге, вскоре семья переехала на Украину. В 1938 Демидов был арестован и провёл на Колыме 14 лет. В 1946 получил дополнительные 10 лет каторжных общих работах. В больнице, куда Демидов попал с дистрофией 4-ой степени, он познакомился и подружился с В.Т. Шаламовым. Судьба Демидова стала основой для двух рассказов Шаламова: «Житие инженера Кипреева» и «Иван Фёдорович». Памяти Демидова посвящена пьеса «Анна Ивановна»: Шаламов до 1965 года считал, что Демидов после больницы погиб на Колыме. После освобождения Демидов переехал в г. Ухту, где работал на механическом заводе. Умер в 1987г. С конца 1950-х начал писать рассказы. В 1980г. КГБ изъяло все рукописи; они были возвращены дочери писателя в 1988г. Московское издательство «Возвращение» выпустило три сборника прозы Демидова: «Чудная планета», «Оранжевый абажур» и «Любовь за колючей проволокой».

Редакция благодарит родных писателя за содействие в подготовке публикации.

человеке тепло сострадания к людям такой же судьбы. С самоотверженностью любящей женщины она была готова даже бросить мужа, относительно комфортабельную жизнь и ехать с Гене в совсем уж необжитые места. Он, однако, от такой ее жертвы мягко, но решительно отказался. Согласие на эту жертву было бы с его стороны эгоистическим злоупотреблением женской привязанностью. Что мог дать взамен страдающий человек с начинающим пошаливать сердцем, да еще запойный пьяница? Будет лучше, если она будет посещать его, когда это позволят обстоятельства, транспорт и состояние дорог. Тогда в промежутках между встречами он будет жить их ожиданием, которое иногда дает больше, чем само общение с женщиной. И, конечно, работой.

Все это было слишком резонно, а любовница Гене слишком большим его другом, чтобы не согласиться с ним. Пользуясь всякими предлогами, на тракторном прицепе-фургоне или вездеходе она делала крюк в несколько сот километров, чтобы побыть с ним один-два дня. Это случалось очень нечасто, всего два-три раза в год.

Писатель в такие дни совершенно преображался. Из бирюка и нелюдима он превращался в словоохотливого, почти веселого человека, правда, только тогда, когда никого, кроме его гостьи, рядом не было. Он читал ей свои рассказы и с явным удовольствием, хотя и некоторым недоверием выслушивал ее похвалы. Говорил о главной идее, которую он старается вложить в свои произведения, и о способах эту идею выразить. Она заключалась в том, что среди падших и отверженных можно и должно разглядеть Человека. Отшельник и мизантроп с виду, Писатель в душе был добр и снисходителен к людям.

Несмотря на ее просьбы, он дарил подруге свои произведения скупо и неохотно. Их автор считал, что ничего по-настоящему готового у него пока нет. Все еще не совершенно, все требует доделок и переработок.

Его все больше мучили сомнения в своем таланте, хотя это, казалось бы, и не должно было иметь для него особого значения. Все равно ведь вся его писанина умрет вместе с ним. Тут было странное, мучительное своей нелепостью противоречие. После отъезда гостьи Писатель впадал в еще большую хандру и вскоре запивал. Так при алкоголизме бывает всегда, причина и следствие тут взаимодействуют.

Вино усиливает меланхолию, меланхолия вызывает новые приступы пьянства. Порочный круг замыкается сам по себе и как тяжелое колесо катится с горы, увлекая с собой и человека. Гене все чаще пил мертвую, хотя и знал, что для него это кратчайший путь в могилу. Ну, а кто по нем заплачет? Эта, которая любит его вопреки здравому смыслу и своим жизненным интересам? Да, наверно. Но он в ее жизни не более, чем балласт. И чем скорее этот балласт свалится с ее плеч, тем лучше. Колесо катилось вниз, все убыстряясь.

Однажды коллектор экспедиции, вернувшись из очередного похода в тундру, не доставил собранных образцов пород, хотя они были там срочно нужны. Значит, заболел или запил. К Гене послали человека. Тот долго стучался в запертую изнутри дверь его избушки, а потом стал на завалинку и поверх газеты, заменявшей на оконце занавеску, заглянул внутрь. Хозяин коллекторской лежал на полу, подвернув под себя голову и прижав к сердцу обе руки. Вскрытие показало, что он умер от инфаркта в состоянии тяжелого опьянения.

В избушке поселились другие. Кроме нехитрого скарба покойного они унаследовали от него еще ворох каких-то бумаг, небрежно сброшенных в посылочный ящик. Бумаги были исписаны неразборчивым, неряшливым почерком, измараны и исчерканы во всех направлениях. Никуда, кроме как на растопку, они не годились. Правда, кое-кто из знавших о писательстве покойного коллектора из любопытства взял себе часть этих бумаг. По ним сделали вывод, что Гене и впрямь был писателем. И даже развеселым, судя по откровенности, с которой он воспроизводил в своих коротеньких рассказах язык лагеря. Рассказики посмаковали, а потом потеряли их. Когда, прослышав о смерти Гене, в поселок приехала его любовница, от рукописей Писателя не осталось уже почти ничего.

Она долго стояла над могилой покойного друга на крохотном кладбище за околицей. Бугорок бурого торфа над этой могилой был самым свежим из насыпанных здесь, но и он начал уже заметно оседать. Болотистая почва тундры делала свое дело. Облетели и бумажные цветы с казенного венка, возложенного на могилу труженика экспедиции ее разведкомом. Его проволочный каркас успел уже густо заржаветь и был почти того же цвета, что и тундра вокруг. Начинались холодные дожди, короткое и грустное здешнее лето кончилось. Одинокой плачущей женщине казалось, что хмурые и низкие дали осеннего Заполярья тоже набухают слезами. Последний взгляд на убогую могилу она бросила уже из окна вездехода.

Плакала эта женщина и спустя много лет после смерти Гене, когда показывала кое-кому из своих друзей его уцелевшие миниатюры. Она и сейчас не сомневалась, что покойный был не просто писателем, а Писателем Божьей милостью, с большой буквы. Одним из великого числа талантов, загубленных на Руси Неправдой и Произволом. Имена их «Ты же, Господи, веси».

Печатается в сокращении

Форум молодых писателей в Липках

Перед молодыми писателями выступает поэт Кирилл Ковальджи

В октябре 2012г. в пансионате «Подмосковные Липки» прошёл 12-й Форум молодых писателей, организованный Фондом Социально-Экономических и Интеллектуальных Программ вместе с литературными журналами при поддержке Роспечати и Межгосударственного Фонда Гуманитарного Сотрудничества СНГ. В этом году в Форуме приняли участие 180 молодых литераторов из 57 регионов России и 17 иностранных государств. Участие в конкурсе могут принимать авторы не старше 35 лет (для зарубежных авторов – до 40 лет) с литературными произведениями всех жанров. Цель Форума – открытие новых имен в литературе, совершенствование литературного мастерства, публикации авторов, а также просто живое общение писателей, приехавших из разных уголков Земли.

Программа Форума была очень насыщенной. За пять дней приехавшие молодые авторы приняли участие в мастер-классах и круглых столах, прослушали выступления известных писателей и общественных деятелей, посмотрели спектакль театра «У Никитских ворот», приглашённого в Липки.

Мастер-классы по поэзии, прозе, литературному переводу, критике, драматургии и литературе для детей вели редакторы ведущих «толстых журналов» Москвы и Санкт-Петербурга: «Звезды», «Знамени», «Дружбы народов» и других. На этих занятиях каждый из участников Форума имел возможность обсудить свои произведения, познакомиться с творчеством коллег и услышать точку зрения тех, у кого за плечами многолетний опыт работы в литературной среде.

Перед молодыми писателями выступает поэт Евгений Рейн

Перед участниками форума читали стихи Евгений Рейн и Кирилл Ковальджи, говорили о своём творчестве Владимир Маканин и Виктор Ерофеев... Гостей было много, встречи были интересными, и часто выступления вызывали очень оживлённую дискуссию. А по вечерам место на сцене занимали сами молодые авторы: у открытого микрофона проходил конкурс поэтов и бардов.

Форум в Липках – это уникальный шанс для многих молодых писателей, часто не имеющих возможности поговорить о творчестве на профессиональном уровне. Для тех же, кто живёт за пределами России, этот опыт особо ценен: он позволяет участникам вернуться в атмосферу бережного отношения к родному языку.

Форуму в Липках уже 12 лет. За это время многие авторы были опубликованы в толстых журналах, выпустили книги, получили награды за творчество. Форум растёт, развивается, расширяет географию авторов – и на следующий год он опять будет ждать участников, готовых на неделю забыть об окружающем мире ради литературы. Конечно, невозможно представить в одном номере газеты творчество всех участников форума, но мы надеемся, что небольшая подборка работ на страницах этого номера позволит почувствовать, насколько разные и талантливые авторы собрались в Липках.

Узнать подробнее о Форуме и правилах участия в нём можно на сайте http://www.sfilatov.ru/

Встреча с редакторами толстых журналов. Выступает А.Д. Алёхин, главный редактор журнала "Арион"

Сергей Филатов, президент Фонда, произносит приветственную речь на открытии Форума

Круглый стол с участием молодых писателей. Выступает Мария Малиновская (Белорусь). Круглый стол ведут (слева направо) поэт К.В. Ковальджи, главный редактор журнала "Арион" А.Д. Алёхин, переводчик и детский поэт М.Я. Бородицкая, главный редактор журнала "Новый мир" А.В. Василевский

Эдуард Успенский среди молодых писателей

Форум молодых писателей в Липках

Роман Рубанов

Россия

Родился в 1982г. в Курской области. Окончил Рыльское педагогическое училище и Курский государственный университет. Работает руководителем литературно-драматургической части в Театре юного зрителя «Ровесник». Пишет пьесы, рассказы, стихи. Печатался в журналах «Лампа и дымоход», «День и ночь», «Нева» и др. Лауреат ряда литературных конкурсов, неоднократный участник Форума в Липках.

У времени взять взаймы,
Сесть на проходящий поезд,
Сказать машинисту: «Дай мы
Поведём поезд!».

Он спросит: «Куда поведём?».
А мы ему не ответим,
В небе линию проведём
Курсивом. Отметим

Этой линией млечный путь.
Во избежание новых вех
Мы поедем куда-нибудь
Вверх.

Но вниз потянут магниты
И ангел, летящий навстречу,
Спросит: «Куда Вы летите?
Там нет ничего...»

* * *

Картавит дорога.
На каждой кочке звучит Вертинский.
Я еду в родимое захолустье.
След от ожога
твоей помады в моей щетине
немного грустный.

Окно потеет.
Водитель шутит: «Наверно выпил
с друзьями, как водится, накануне».
В душе теплеет
и с сигареты слетает пепел,
как пух в июне.

Сон разбавляет
дорожный притор однообразный.
Я просыпаюсь от дикой жажды.
Мой взгляд цепляет
парящий в небе крестообразно
журавль бумажный.

Ремень отброшен.
Иду шатаясь. Мелькают зебры
В глазах. Я падаю у забора.
Мой крик истошен.
Меня тошнит на родную землю –
выходит город.

* * *

Леший покупает самогон
в ветхой хате на краю села.
Придавив окурок сапогом,
он сидит, в чём нимфа родила,
на крыльце, терзает свой баян,
песни неприличные поёт.
Пятница. А значит, снова пьян
леший. Он ругается и пьёт.
Вымирает сонное село,
доживают бабки бабий век.
Леший рожу пьяную стеклом
бреет. Одинокий человек.
Был завклубом. Нёс культурный пласт
в массы на берёзовых плечах.
А теперь огонь в глазах угас,
а теперь пожар в груди зачах,
а теперь деревня померла,
леший спился, водяной утоп.
Хата ветхая, что на краю села,
издали напоминает гроб.
Леший пьёт, он непривычно зол
на людей, проспавших край родной.
Сплёвывая горький димедрол
пролетает месяц над страной.

Маша и медведь

Для города они были весьма странной парой: очень уж велика она и слишком мал он. Но они жили в деревне, где этот контраст не вызывал никаких эмоций у земляков, которые испокон веков невест выбирали по принципу выносливости – чтобы и хозяйство могла тянуть на своих плечах, и мужа, и детей...

Именно такой и была Маша – сильная, огромная, краснощёкая и плодовитая! Вставала с первыми петухами и весь день вертелась как белка в колесе: огород, корова, муж и пятеро детей. Одень, обуй, напои-накорми, подои и прополи!

За всё это муж, как и подобает настоящему деревенскому мужику, слегка работающему и основательно пьющему, поколачивал жену. Просто так – ни за что! Чтобы показать, что он мужик. Сильный! Маша безропотно принимала «ласку» мужа, считая, что так и должно быть.

Так они и прожили вместе лет десять и жили бы так же и дальше, если бы не один случай. А случай вот какой. Приехал в их глухомань цирк! Все жители поголовно – на представление! На приезжих поглазеть, себя односельчанам показать!

Весёлое было представление. Дети визжали от восторга и хватались за животы от шуток разноцветных клоунов. Мужики приосанивались и расправляли плечи, когда свои номера исполняли акробатки и прочие цирковые девицы, сами понимаете во что одетые. А бабы с замиранием сердца следили, как мужик с невиданной в их краях внешностью смело кладёт голову в пасть льва, тоже в их краях невиданного.

А потом красавец-дрессировщик решил побороться с огромным бурым медведем. Мужики спорили на бутылку: кто кого. А женщины переживали за красавца-дрессировщика. Но у артиста и зверя всё было отрепетировано. Человек победил, пожал Топтыгину лапу и предложил опешившим деревенским жителям провести спарринг с Михал Потапычем. Все мужики почему-то дружно уставились в пол, а бабы – предостерегающе в затылки мужей.

Елена Шуваева-Петросян

Армения

Родилась и выросла в России, в Волгоградской области, училась в Москве, живёт в Ереване. Автор пяти книг и множества публикаций в российской и армянской прессе. Член Союза писателей Армении.

– Бескорыстно желающих нет! А за сто рублей таковые найдутся?! – подначивал деревенскую публику циркач.

И тут все ахнули. Деловито засучив рукава, сдув русые пряди со лба, грозно направилась к четвероногому сопернику Мария! Что тут началось! То Мишка сверху! То Машка! Маша была, конечно, женщиной полной, но гибкой. Изловчилась она и положила-таки косолапого на лопатки. Дрессировщику ничего не оставалось, как вручить победительнице сторублёвку. Деньги для деревни немалые!

Были и аплодисменты, и завистливые взгляды (из-за ста рублей). А потом представление кончилось, и цирк уехал.

Они молча возвращались домой: очень маленький он и необычайно крупная она. И сегодня он гордился своей женой – сильной, статной и красивой. А дома, как бы между прочим, спросил: «Эх, Машка, сколько раз я тебя колотил, а ты мне ни разу сдачи не дала». Она опустила голову и тихо ответила: «Дать-то могла, да детей жалко – вдруг сиротами остались бы...»

Возможно, в городе их посчитали бы странной парой, но они жили в деревне.

* * *

Я вижу сны на русском…

Действительно я иногда вижу сны на русском языке. Говорю с акцентом. Думаю без акцента. Свое первое стихотворение я написал на родном языке. А сейчас пишу только на русском. Я люблю свою Родину. Свое село (аул), свой район, свою республику, Россию. Это примерно как в матрешках: одна внутри другой, другая в третьей и т.д. И не возможно из этой цепочки убрать одно звено. Душа не терпит пустоты. Не терпит.

Величие нации – в её разнообразии и единстве.

А на каком языке видишь ты..?

Шаптал

Старый Сулейман молчал.

Он долго щурился, смотрел, кряхтел, сопел, молчал.

Уже несколько лет шаптал в конце огорода не давал урожая. Не суждено было, наверно, того Всевышним. Два года подряд пошел снег прямо во время цветения, а ночью был мороз.

Еще один год побил град. Крупный. Покрупнее самого шаптала. Так и лежали на земле градины и шапталы, белый, зеленый, неспелый.

А три года он и вовсе не уродился. Не уродился, и все тут.

– Э-э, – сказал тогда Сулейман, выходя на скамейку возле ворот, – Видимо деревья тоже выходят на пенсию.

Но рубить дерево не стал. Не стал рубить на уговоры жены, домашних, не стал рубить, даже когда в прошлом году засохла одна часть. Просто молча взял пилу и рано утром после азана, совершив молитву, спилил сухие ветви.

Наконец, в этот год шаптал зацвел так, что на него слетелись пчелы даже из пасек соседнего селения и им всем хватило цветов. Лето выдалось засушливым и старый Сулейман, кряхтя в такт плескавшейся воде в ведрах, относил и поливал, делал какие-то настойки из трав, опрыскивал, чтобы не появлялись черви.

Когда появились первые спелые плоды, старик собрал их в корзину вместе со старшим внуком и с самого утра ждал ребятишек, чтобы угостить их шапталом.

Ребята, увидев старого Сулеймана на завалинке возле дома вместе с корзиной, полной спелых абрикосов, поспешили.

– Салам алейкум, Сулейман акка, это все нам?

– Алейкум ассалам. Вам, ешьте, дети. Дай Аллах вам силы на руки и ум в головы.

Еще долго разговаривали дети и старый Сулейман.

Вечером попробовали шаптал и все домашние. Старый Сулейман с аппетитом съел один шаптал.

Ночью старик умер.

Когда по мусульманскому обычаю покойника обмывали, из правой руки осторожно сняли четки, на ладони левой руки лежала косточка шаптала.

На семейном совете было решено посадить эту косточку во дворе.

Хусей Бостанов

Карачаево-Черкесская Республика

Родился в 1974 г. Закончил КЧГПУ, отделение журналистики, аспирантуру. Пишет на русском и родном карачаевском языках. Главный редактор газеты «Мой Малый Карачай». Автор ряда публикаций в периодике, многократный участник Форума в Липках.

Евгений Кремчуков

Россия

Автор поэтического сборника «Проводник» и ряда публикаций в периодике (журналах «Звезда», «Воздух», «Лик», альманахах «Скандинавия-Волга», «Akzenty» и др.). Участник двух Форумов молодых писателей в Липках и ряда литературных фестивалей; призёр и дипломант Международного конкурса хайку на русском языке. Живёт в г. Чебоксары.

Сядь как античный грек
на берегу реки
чтоб проплывали вверх
заводи, островки

за разговором воли
не разобрать имён
только высокий холм
да горьковатый мёд

* * *

Синий росчерк Сенатской
с неизменной виной
подмешал как в семнадцать
эти слёзы в вино

жест столетний и юный
направляет тебя
сквозь закат над июнем
сквозь картечь декабря

в карандашный рисунок
в тонких сумерек высь
вдруг вплетается сутью
горький ветер с Невы

прорастая над смертью
как дыханье
плотней
сжатой волею меди
глубже кожи твоей

* * *

Город в море полуночи спит
дом высокий за морем стоит
дом высокий и в доме жена

как темна в глубине тишина
засыпает костёр; у костра
спят мои рыбари и ветра
лишь одна мне осталась верна
галилейского моря волна
что рисует на влажном песке
буквы сна на чужом языке

* * *

Это жизнь проходит, солнышка
бестолковая, чудесная
простодушная как золушка
сероглазая как песенка

это тайны дамской сумочки
птичий стрекот в спицах велика
это два тюльпана в сумерках
на скамейке в майском скверике

это жизнь проходит, солнышка

* * *

Где ласкает закат горизонт
за твоею спиной
распускается солнечный сон
над тобою и мной

чтоб успеть обогнать облака
и дожди расплести
чтобы в руку вплеталась рука
по утрам у плиты

чтоб читать по движенью стрижей
по уклонам крыла
как прекрасная долгая жизнь
благосклонна была

ДО

Непривлекательный я человек.
«Записки из подполья»

Аравийский ветер, налетевший с побережья, превратил жёлтый песок в микросмерчики, которые зигзагами понеслись вперёд по улице. Ни для кого никакой опасности они не представляли, кроме мелких веточек, которые послушно нырнули в воронки и навсегда вверили свои судьбы песку и ветру.

До (первые две буквы её старинного балтийского имени) сидела в кафе, совершенно не помня, какой сегодня день недели, месяц, год и век. Иногда, особенно по утрам, она даже путала, где она находится, в каком городе, в какой стране. Всё было одинаковым и постоянным, невзирая на формальную смену стран, языков и обычаев. Перед До стояла изящная чашечка с неплохим капучино, однако если бы ей подали скисшую бурду в пластиковом стакане, или же просто ничего, она всё равно бы этого не заметила. Мысли До были далеко от этого места, и окружающие явления её мало интересовали. Точнее, не интересовали совсем.

Уже шестой год она жила где попало. Чёрт-те где она жила. Речь, впрочем, не о бытовых условиях, а о местах проживания – городах и странах. Разве это правильно, когда хрупкая блондинка скандинавского типа живёт то в Ченнае, то в Сингапуре, а то в Абу-Даби? Форменное безобразие, вот что это.

Мама До родилась в Ленинграде, отец – в Чернигове, в русской семье, сама До – в Каунасе, а что будет написано в графе «место рождения» её сына или дочери (До твёрдо знала, что у неё, как и у родителей, будет только один ребёнок), никто из них старался не задумываться. У фантазии ведь тоже есть пределы. А в Каунасе они оказались случайно – много лет назад отцу предложили работу там, где он родился, на Украине, но он, во время учёбы поживший в Ленинграде, не захотел возвращаться в родные края. «Тогда езжай в Литву», – сказали ему в отделе кадров, и он, проведя единственный раунд переговоров с молодой женой, убыл в Каунас. Жена, будущая мама До, приехала к нему через пару недель, будучи уже на девятом месяце.

«Получается, ты – русская? – спрашивал До иной пытливый ум. «Да», – отвечала До. «А почему у тебя имя литовское? Да и выглядишь ты совсем не как русская», – продолжал докапываться до истины ум. До мило улыбалась и отвечала заготовками: «Имя родителям просто понравилось, к тому же в то время никто не придавал значения национальной принадлежности имён. А внешность – я же не виновата!»

Родители определённо не были брюнетами. Шатенами тоже их вряд ли бы кто-то назвал. Но До их перещеголяла – подобной идеальной блондинки, с бледной, чуть ли фосфоресцирующей кожей и с зелёными глазами, свет, может, и видел, но каунасский роддом точно нет. До родилась в январе, вскоре после Нового года, и родители долго думали, в каком возрасте разрешить ей пойти в школу. «Разрешить» – вроде бы странное слово. Но До в раннем детстве была очень самостоятельной, и всегда рвалась принимать решения в одиночку. В три года она сама объявляла, когда ей хочется пойти гулять или наоборот – с прогулки вернуться домой. В пять лет До нередко давала маме прямые указания о еде – что приготовить на завтрак, обед, ужин (мама, хоть и стыдилась этого, подчас даже ждала дочкиных распоряжений, поскольку самой что-либо выдумывать было лень). Вот родители и размышляли, направить ли энергию До в социальное русло пораньше, или отложить её столкновение с большим миром. Думали родители, а решила всё До, причём самым простым способом. Вскоре после своего шестого дня рождения она спросила: «А в какую школу я пойду?» Позадавав ей вопросы «по теме», мама и папа поняли, что девочка твёрдо настроена в сентябре, то есть ещё до семилетия, стать школьницей, и переубедить её не удастся. Конечно, можно и запретить, но зачем?

В начальных классах До проявляла свой несгибаемый характер в полной мере. Но, к облегчению родителей, До вдобавок оказалась ещё и справедливой. Она до поры верховодила одноклассницами, разрешая споры и конфликты, объединяя вокруг себя ненавидящих друг друга девочек. С мальчиками отношения тоже были ровными – и равными. До, не желая углубляться в их мир (со своим бы разобраться!), выказывала им неосознанное уважение, и в ответ получала то же.

В первом-втором классах До была ростом примерно как все. На уроках физкультуры она стояла посередине шеренги. Но потом её подруги резко рванули вверх, и она за ними угнаться так и не смогла. И это стало отправной точкой, хотя отнюдь не причиной, личностного увядания До – она постепенно, незаметно теряла твёрдость, целеустремлённость, яркость, независимость взглядов и суждений. Правда взамен она, к облегчению родителей, стала значительно лучше учиться, а годам к пятнадцати вдобавок превратилась в самую красивую девушку в школе. Однако воспользоваться этим она не могла. В До, навсегда худенькой и невысокой, как будто не хватало пространства на два серьёзных качества. Она могла либо хорошо учиться, либо быть приметной личностью. И выбор, сознательный или нет, она давно сделала – в пользу учёбы.

Страну сотрясали конфликты, из всех щелей дул холодный ветер перемен, будущее было под вопросом. Родители долго кумекали, куда бы дочери податься после школы. «Я никому не нужна с этой медалью», – постоянно говорила До, ввергая всех, включая себя, в тягучую тоску. «Где бы ты хотела учиться?», – спрашивали До. «Я не знаю. Нигде», – следовал ответ.

Прошли выпускные экзамены – До их не заметила. Приближалась пора вступительных, а До целыми днями лежала на диване лицом к стене. В депрессии при этом она не находилась. Она буднично помогала маме, если та её просила о чём-либо, ходила гулять с подругами, когда они звали, но сама, по своей воле, ни одного действия не совершала. А когда отец, до предела обеспокоенный её пассивностью и нежеланием принимать участие в собственной судьбе, вспылил и – впервые в жизни! – всерьёз накричал на неё, До, ничуть не обидевшись, молвила: «Куда скажете, туда и поступлю. Мне сложно выбрать». А так как времени оставалось буквально в обрез, они и подали документы туда, куда успели – на экономический. Поступить-то она поступила, но готовилась и докладывала об успехах с таким отрешённым видом, что становилось очевидно: не по своей воле она учится. Своей-то не было. Однажды, уже после зачисления, маме удалось разговорить До. «Ты что, не хочешь учиться на экономическом?» – «Нет», – кратко ответила До. «Но ты же хорошо знаешь математику!» – «Я всё знаю хорошо, но толку с того?» До не преувеличивала – она успевала по всем предметам, но... Равнодушно. Рутинно. И безрадостно.

«Может, давай заберём документы, год подождём, а там поступишь, куда хочешь», – в отчаянии предложила мама, зная, что услышит в ответ. И услышала. «Я никуда не хочу», – усмехнулась До, а мама невпопад подумала, что ещё года два-три, и красота дочери перешагнёт мыслимые пределы. До и это понимала, но относилась к своей привлекательности так же, как и к способностям – есть и есть, и Бог с ней. Жить не мешает, и ладно. А вот что и красота, и талант к наукам могут помочь, она не понимала. Апатичная До, равнодушная До.

Диплом с отличием, специальность экономиста, хорошие служебные перспективы, невероятная внешность, покладистый характер и неодолимое стремление плыть по течению – с таким багажом До встретила свой двадцать первый июль. А ещё было полное незнание, что со всем этим богатством делать. До, как и в лето после школы, месяц пролежала на диване, казалось, даже не предполагая, что дальше тоже должно что-то последовать. Совершенно спокойно она терпела недовольство родителей (втайне, но напрасно надеявшихся, что До переменится), так же спокойно, по их настоянию, начала искать работу, и, нежно светя малахитовыми глазами, вскоре сказала, что её берут в один из местных НИИ бухгалтером. И хотя её специализация была немного иной, никто и секунды не сомневался, что До, немного поизучав бухгалтерию, с работой справится. Родители ликовали – и был повод!

А вскоре события принялись развиваться неожиданным образом. Подруга До по факультету, также волею судьбы ставшая цифроводом, хоть и в другом учреждении, предложила освоить новую профессию, современную и модную – аудитора. До согласилась – она вообще очень редко отказывала кому-либо. Они окончили курсы, получили сертификаты (как им пафосно заявили – «Первыми в Прибалтике!»), а потом... Неожиданно До предложили работу. В одном из гигантов современного аудита – компании «Кост Эйр Вилледж». Ей посулили скромную должность, но с хорошим окладом – раз, возможность профессионального роста – два, а самое занятное – не в Каунасе. И не в Вильнюсе. И даже не в Брюсселе.

«Вы знаете, где находится Ченнай?», – спросили До в отделе кадров (надменно именовавшемся «Эйч Ар департмент»). «Нет», – сказала До. «Это новое название Мадраса». – «Мадрас. Индия. Слышала». – «Хотите там работать?»

До задумалась. Она не любила летать на самолётах, ей не нравилась Азия во всех проявлениях, да и родителей оставлять надолго не хотелось. Но До была фаталисткой. Если она подошла к реке, её нужно форсировать, и иного пути просто не дано. При всех минусах работы в Индии, денег будет гораздо больше – папе с мамой в помощь, а к тому же им явно будет очень лестно, что их дочь трудится в известной компании за рубежом. А где именно, можно скромно не уточнять.

Так снежная До оказалась в жаркой Индии. Однако в духоте южной Азии не растаяла. Она, со своим меланхоличным характером, деловой скрупулёзностью и дотошностью, плоховато вписывалась в безалаберность весёлого Ченная. Невзирая на то, что бухгалтерское дело До изучала совсем недолго, а в НИИ работала меньше года, подшефные индусы, служившие в своих должностях десятилетиями, в балансе разбирались гораздо хуже неё. Но они, индусы, были приветливыми и забавными, и редко с ней спорили.

Вскоре выяснилось, что в Ченнай, Мумбай и Джакарту «КЭВ» посылал новичков – чтобы проверить их профпригодность и способности к адаптации в непривычных условиях. До со всем блестяще справилась. И только она привыкла к Индии, как последовало повышение – ей безальтернативно предложили переехать в Сингапур. Ещё дальше от дома, ещё менее понятно, как там жить. До опять вяло возражала, но недолго и изнутри, а вслух согласилась почти сразу. Кроткая До, безотказная До.

В Сингапуре жизнь была такой же, что и в Ченнае, только город был чище и современнее. А контакт с подчинёнными ладился сложнее – индусы, хоть и хитрецы, мозгами значительно ближе к европейцам. А кто такие китайцы, в основном населяющие Сингапур, чего они хотят, а главное – о чём и как думают, До никак не могла уяснить.

А ещё через полтора года за Сингапуром последовал Гонконг – но там было чуть проще, потому что общаться с китайцами она более-менее научилась. Как До поняла из разговоров с высшим руководством «КЭВ», в компании у неё появилась репутация, и всё бы хорошо, но в Лондоне, где оно, руководство, сидело, каунасская северная блондинка уже слыла за специалиста по Азии. На невнятные же вопросы До о своей карьере бодрый дураковатый вице-президент, её непосредственный начальник, давал такие ответы, из которых косвенным образом следовало, что покинуть всем сердцем нелюбимый континент, работая в «КЭВ», у До нет никаких шансов. Впрочем, вице-президент неосторожно обмолвился, что есть открытые вакансии в римском, варшавском и, что её немного взволновало, афинском отделениях. Афины. Греция. Афины. Когда-то у неё было ощущение, что ей казалось, что она, не исключено, может захотеть побывать где-то там...

Однажды вечером, сидя в кафе и отдыхая после рабочей недели (к тому моменту До уже давно жила в Абу-Даби), она ухватила случайно мелькнувшее в голове воспоминание. Ей лет восемь, на дворе – весна, она идёт в школу с подругами – Мигле и Региной, Ми и Ре. Ре канючит, потому что хочет спать – она предлагает прогулять уроки. Ми только за, но мотивация у неё иная – она зовёт подруг в парк, ей родители дали немного денег и она готова угостить Ре и До мороженым. Сама До тоже хочет спать, и от мороженого не отказалась бы, но она знает, что ей нужно в школу, потому что учительница и так была недовольна вчера – До опаздывала в класс после двух переменок подряд. Поэтому До говорит девочкам что-то веское и продолжает идти к школе, хотя Ми и Ре уже вознамерились повернуть в сторону парка. До не оборачивается, шагает, и чувствует себя повелительницей галактики, когда одноклассницы, недовольно бубня, догоняют её и, при наличии выбора, соглашаются с её точкой зрения. До, Ре и Ми идут вместе, потому что так захотела До.

У неё была сила, была воля, а потом, с расцветом красоты и способностей к математике, языкам и прочим наукам и сила, и воля куда-то подевались. Раньше было просто. Существовали сами собой возникавшие цели – аттестат, диплом, устройство на работу. Дороги к этим целям были трудными, но ясными. На работе тоже всё было очевидно – это надо посчитать, это проверить, это исправить. Она ничего не решала. Решения принимали другие. А она это сносила. Даже отношения с мужчинами складывались похожим образом. Холодное обаяние До отпугивало всех несерьёзных претендентов на её внимание, а та пара настойчивых, сумевших пробиться к ее душе, получали всё. Буквально всё. Но До и тут оставалась собой – всегда соглашалась, ни на чём не настаивала. То ли боялась, то ли стыдилась. Потому-то ничего ни с кем и не получилось. Впрочем, если честно, один из них ей почти не нравился, зато другой... Недавно До вдруг вспомнила, как ей было хорошо с ним. И как нелогично всё закончилось. Нерешительная До, безынициативная До.

И вот, в этот самый, ничем не примечательный вечер, один из миллиона, До вдруг с изумлением посмотрела на себя со стороны. Она осознала, кто она сейчас, а кем – может быть. Разница между этими двумя образами, личностями, характерами, ипостасями была столь выразительной, что До мгновенно разрыдалась, да так сильно, что на неё покосились все посетители кафе. До опрометью выбежала на улицу. Она плакала из-за того, что за всю жизнь у неё не было серьёзного повода плакать. Она ничего и никого не теряла, она ни по кому сильно не скучала, она никуда не хотела. И винить во всём можно только себя. Но она понимала также, что пора, уже совсем пора.

До зашла в свою квартиру. Хотя какая она своя? Включила компьютер, написала начальству письмо, поставив в теме «Афины». Потом позвонила родителям. Она почувствовала, что и мама, и папа удивились её настроению и интонациям. Затем До отправила текстовое сообщение, состоящее из единственного слова – «Привет!» Ответ пришёл сразу.

Она вышла на маленький балкон и взглянула на небо. На её лице не сияла, как положено, красивая пустая улыбка. Доминеле внимательно, не отрываясь, смотрела на белую полосу, вычерчиваемую летящим над городом самолётом. А когда он пропал из виду, последние сомнения исчезли.

Григорий Аросев

Родился в 1979 г. в Москве. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа. Работает на телеканале "Культура" и в информагентстве ИТАР-ТАСС. Публикует стихи, прозу и критику в московских и региональных изданиях («Новый мир», «Дружба народов», «Урал», «Вопросы литературы», «Дети Ра», «Звезда» и др.). Участник нескольких Форумов молодых писателей России

Вика Чембарцева
Молдова

Поэт, писатель, переводчик. Родилась и живёт в Кишинёве. Окончила факультет маркетинга Экономической академии Молдовы и факультет психологии Института непрерывного образования. Член Ассоциации русских писателей Молдовы. Член Союза писателей Москвы. Автор поэтической книги «Тебе...» и ряда публикаций в периодике и коллективных сборниках. Участница Форумов молодых писателей России (2009-2012). Победитель и лауреат многих международных литературных конкурсов.

Предощущение весны

Ещё коростой — вмёрзший в крыши снег...
Чернеет пустотой гнездо сорочье...
Но отдаёт слегка дубовой бочкой
уже вино из кружки на огне...

Меж рамами застыл крылатый прах
нашедшей свой приют осенней мухи...
А пред Крещенской службою старухи
судачат что-то о чужих грехах...

По снегу пеплом в томности лучей
слепое солнце тянет длинно тени,
но слышится весны предощущенье
в обледенелом шёпоте ветвей...

Светопадение зимы

Зернистым подаяньем, снежной манной
не долетит. Оттаявшим дождём,
слепою взвесью волглого тумана
прильнёт к земле, и тёплым декабрём –
как ангел падший, обронивший перья,
несущий свой насущный южный крест –
продрогнет от сомнений и неверья
зима… Светопадение небес.

Человек декабря

Человек декабря. Ты живёшь
за картонной стеной,
окунаешь гортанную речь
в говорливую речку,
что прибилась к порогу. Ты слышишь,
как спорит с судьбой
на задворках старик,
проклинающий ветхую вечность.

Ты выходишь из дома по следу
опавшей листвы,
чтобы следовать свету,
скользящему по вертикали
из раскрытого неба.
И крошится стебель травы
под ладонью в кармане,
наполненном волглой печалью.

Ты от срока до срока
изнашиваешь вещество,
что дыханием бога проникло
в телесные клети.
Ты боишься друзей и предательств.
Но больше всего
ты боишься внезапной любви
и беспамятства смерти.

Ты – седеющий мальчик –
один в сердцевине зимы
под пронзительным утром
и предощущением снежным.
Человек декабря.. Были двое –
и мы, и не мы –
говорливые воды, молчанье
и тихая нежность.

Пятое время года

Лужистый студень зимы –
это память дождей,
солнечной охры и белого
пепла туманов.
В талой воде отражается небо
с изъяном
словно в расколотом зеркале –
к счастью? к беде?
Клином графитным, где вычертил
твой карандаш
голые руки ветвей на пергаментной сини,
грифель сломался в страницах
альбома о зимах.
Кистью по листьям – весна –
акварель и гуашь.

Северней снега на сердце…
и десять причин
пить брудершафт с несудьбою
и быть несвободным.
Каевы кубики – время –
из пальцев холодных
падая в вечность, увы,
не способны лечить.

Десять по десять причин –
получается сто.
Можно ли дважды войти
в обмелевшие воды?
Будем скитаться по пятому
времени года:
ты – по дороге на запад,
а я – на восток.

На Восток

И день опять – закутанный в туман
ослепший раб – бредёт без ориентиров..
Исход зимы. Далёкий Регистан
во сне вздыхает. С запахом тандыров
приносят ветры хлебное тепло –
залог того, что лето неизбежно.
Иголка вышивает шёлком нежно
на сюзане – анор – граната плод..

А здесь… Под белым бременем лоза,
и терпкий запах угольного шлака
из детства, и бездомная собака
скулит с тоской в застуженных глазах..
То стылая вода, то талый снег..
И одиночество – души сиротство.
Но звёзды близко – как со дна колодца.
И ангел иногда придёт во сне..
..И тянется к Востоку караван
песчаною бескрайнею пустыней,
туда, где купола лазурно-сини,
где лето, я и ты, и Регистан.

Владимир Коркунов
Россия

Родился в 1984 году в городе Кимры Тверской области. Печатался в журналах «Юность», «Знамя» (в том числе с предисловием Беллы Ахмадулиной), «Арион», «Дети Ра», «Зинзивер», «Аврора», «Волга XXI век», в «Литературной газете», в газетах «Литературная Россия», «НГ Ex Libris» и др. Заместитель главного редактора журнала «Дети Ра».

Разлуки нас с тобой свели
и разлучили так нелепо.
Жилища наши на мели
напоминают склепы.

И нет ни права, ни конца
разрушить это умиранье.
Твои ли это – пол-лица
во мне печатью на прощанье?

И эта светлая тоска –
так неожиданно, но точно
крадётся в области виска
февральской ночью.

* * *

Как тоски набравши в рот,
я стоял – ни жив, ни мертв.
Я стоял. А жизнь катилась
сквозь машины, сквозь дома,
сквозь ненужного меня…
И дышали странной силой
шутки, влезшие случайно,
Разговоры по ночам…
Все, что ты забыть просила.

Наши частые прогулки,
ужин на сковороде –
отдавали диким гулом
в голове.

Наши сны, где ты боялась
потеряться. И бессильно
мне шептала: милый, милый…
Это все как небыль смыло.
Все, что ты забыть просила.

Воскресный вечер

Мы говорили. Дождь с туманом
играл, выплескивая грусть.
И расставаться было рано,
и странно ускорялся пульс.
Сквозила музыка сквозь мысли,
клубилась в ягодном дыму.
Вино с налетом легко-кислым
пыталось прошлое вернуть.
А после – пряная прохлада
и ночь цветущих тополей.
И расставаться было надо,
и нужно было быть смелей.

* * *

Игорю и Полине

Где мёд – не мёд, где человек-пчела,
и где пчела размером с человека;
слова, которые слагаются в слова,
становятся словесным пчело-веком.

И веком слов. Влеком и отвлекаем,
сидел, слагавший рифмы, человек –
о пчёлах, мёд словесный
извлекающих,
о мёде, меде, меди – обо всех.

* * *

Лине

А между нами стены и дома,
и, расставаясь, я схожу с ума –
я комнату словами обрамляю.
Мой телефон молчит – он все молчит,
незнанием, неведеньем горчит
несказанная несказанно стая
облупленных уже и кем-то слов,
которыми добраться до основ,
порвать рисованные расстоянья сложно.
Но разговор кренится на беду,
и я опять непонятым уйду –
я сам себя не понимаю должно.
Что рисовать! – Словами обрамлять.
Всяк приходящий вечер, словно тать,
тебя из монитора выдирает.
И остается мысли усмирять,
и говорить с тобой опять, опять,
неловко и нелепо засыпая.

* * *

Мы с тобой из мая в осень
осиянными вошли.
Нас благословляет голос
остывающей земли.

…Так идём – сквозь непорочье –
не познав ни боль, ни блуд.
Листьев отлетевших клочья
вдоль по прошлому снуют.

Мария Малиновская
Беларусь

Родилась в 1994 г. в Гомеле. Многократный лауреат различных литературных конкурсов. Автор книги поэзии «Луны Печали», а также многочисленных публикаций в периодике («Литературная газета», журналы «Нёман», «Новая Немига литературная», «День и ночь», «Дон», «Петербургские строфы» и др.).

Был дом

Был дом на свете. Есть он и сейчас.
Я под его стеной стояла долго.
К ней мчалась годы – и стояла мчась,
Летя в оцепенении осколка.
И я стояла под его стеной
Осколком, не умеющим вонзиться
В звонок дверной,
в простой звонок дверной,
На остриё глядящий, как зеница.

Был дом… И есть… Завещанный не мне.
Но знала, равнодушно уезжая,
Что жизнь моя стоит в его стене,
А за стеной, а в доме – жизнь чужая.

А за стеной… Что было там? Бог весть…
Дань прошлому – одно из суеверий.
Ведь что бы ни было – оно уже не есть…
И нет меня у отпертой мне двери.

* * *

Ни лишнего слова, ни лишнего жеста –
Попробуй хоть что-то сказать невпопад!
Родное, блаженное, жуткое место
Мой маленький… крохотный…
ласковый ад!

Здесь каждый обязан
поддерживать пламя
Ладонью! Иначе отныне и впредь
Не с нами! – а если ты будешь
не с нами,
Гореть тебе в пламени, ох как гореть!

Со всех семерых прегрешенья снимая,
Ладоней отнять не могу от костра! –
Единственно, неисчислимо восьмая –
Любовница? Гостья? Хозяйка? Сестра?

Здесь каждый Другой –
и один Прокажённый,
Фагот перевернутый, прежний Сократ…
Не в гости меня и не в сестры –
а в жены! –
Ждал маленький… крохотный…
ласковый ад!

Ни лишнего слова, ни лишнего жеста,
Мой слог не по-девичьи скуп и остер!
Приветствую ад, нехристова невеста, –
И, как на алтарь, восхожу на костер!

* * *

Принеси попить – и не надо звёзд.
В чудеса твои безоглядно верю.
Принеси попить. Молчалив и прост,
В комнату войди, робко скрипни дверью.

Не являйся мне – чуда не твори,
Просто подойди с неказистой чашкой.
Просто поверни ручку на двери,
Легче чудеса – ручка будет тяжкой.

Обними меня, посмотри, как пью,
Посмотри, как зло… посмотри,
как худо…
Просто прикоснись к бабьему тряпью,
К смятым волосам – это будет чудо…

И тогда уйди. Нечего беречь.
Чашку уберу в прочую посуду.
На Земле легко – тяжче после встреч
Дорогих, земных радоваться чуду…

* * *

Вот так умирал Океан,
И пухом прибои летели…
Качался, дышал еле-еле,
Как зверь, угодивший в капкан.

Вот так Океан умирал,
Захвачен своими сетями
И проткнут своими костями:
Пронзал его каждый коралл…

От рыб серебрился песок,
Весь точно из блёстких полотен.
А Он был небесно бесплотен,
А Он был бесплотно высок…

И волны нежней облаков
Тогда к небесам подбегали,
И солнце в закатном накале
Искало свой водный альков,

Врезалось горящим ребром
В край близкого милого порта.
И с кем-то застывшим у борта
В пустыне виднелся паром…

Санкт-Петербург ИнтеллигенТ

Сказка про Вечную Любовь

Одной девушке очень хотелось, чтобы в ее жизнь вошла Вечная Любовь. И как-то раз в дверь позвонили. На пороге стояла худая тетка с огромным чемоданом и взглядом острым, как рыболовные крючки.

– Вы к кому? – спросила удивленная девушка.

– Конечно же, к тебе, милочка! – воскликнула незнакомка, с грохотом ставя на пол чемодан и доставая из него раскладушку. – Меня зовут Любовь Урановна. Яблочка не желаешь?

Так Любовь поселилась у девушки. Была она такой тощей, что ее никто, кроме хозяйки, не замечал. Жила она тихо, и даже яблоки свои грызла почти без хруста. Лишь когда девушка приводила домой очередного ухажера, тетка подкрадывалась и тихонько шептала на ухо:

– Неплохой мальчик, дорогуша, но, боюсь, тебе не подойдет. Пиджак, галстук – типичный клерк. Пусть он неплохо зарабатывает, но разве любят за деньги? Вот и оставь офисный планктон офисным китихам.

Или так:

– Лучше, уже гораздо лучше! Художник, душа компании. Жаль, что у него ни гроша за душой. Сейчас тебе кажется, что эта любовь будет вечной, но ты ведь девушка с запросами. А что он тебе может дать кроме твоего портрета – да и то, если ты сперва наскребешь ему на свежий холст? Ни к теплому морю не свозит, ни в город Париж. Вот и растает твоя любовь в мелких бытовых склоках.

Следующий оказался чересчур добрым:

– Ты ему на шею сядешь и ножки свесишь. Какая уж любовь с эдаким простофилей!

А другой – слишком эгоистичным:

– Ему на тебя, душечка, плевать с высокой колокольни. Он любит только себя. Бегать за ним ты будешь, конечно, дольше, чем за прочими, но и это тебе надоест.

И каждый раз девушка понимала, что ее соседка говорит чистую правду. А потому продолжала поиски. Со временем претендентов становилось все меньше, а затем они пропали совсем. Тогда тетка упрятала раскладушку в чемодан и навсегда покинула пустую квартиру, по углам которой валялись яблочные огрызки. Она тихонько затворила дверь, вышла на улицу и прислушалась. На противоположном конце города другая милая девушка исступленно звала Вечную Любовь.

Сказка о принцессе и драконе

Рассказывают, что когда-то, давным-давно, прекрасная принцесса гостила в замке у своего жениха – отважного рыцаря. Однажды, когда рыцарь ускакал на охоту, в окно опочивальни принцессы влетел голодный дракон, и в мгновение ока сожрал бедняжку. А поскольку дракон был молодой и еще некрупный, улететь с набитым желудком он не смог, и развалился прямо в алькове, помахивая хвостом и сыто рыгая.

Воротившийся рыцарь был в ужасе – вместо самой прекрасной принцессы в мире его встретила жуткая чешуйчатая тварь.

– Бедная моя принцесса! – вскричал он. – Я знаю, что ради меня ты отвергла многих могущественных магов и чародеев. И один из них решил отомстить, заколдовав тебя. Наивный! Он думал, что за ужасной оболочкой я не разгляжу свою любимую!

– Постой, постой, – ответила ему рептилия. – Ты что, не видишь – я не принцесса, я дракон! А принцессу я съел, и она была очень вкусной, хотя и немного костлявой.

– Коварный колдун затмил твой разум, милая, – покачал головой рыцарь. – Но его чары не обманут меня.

– Вглядись внимательней, – прорычал дракон, пуская клубы дыма. – У принцессы были волосы цвета воронова крыла и прекрасные синие очи. А я весь покрыт чешуей, и глаза мои горят желтым пламенем.

– Все это так, – согласился рыцарь. – Но сквозь твои узкие зрачки на меня глядит душа моей принцессы. Мы с ней так сроднились, что я чувствую ее сквозь все преграды, и никто не сможет меня обмануть. Не бойся, моя любовь столь сильна, что рано или поздно развеет любые чары.

Так они проговорили до вечера. Потом дракон вновь проголодался, и рыцарь приказал подать ему самые изысканные кушанья. Летающая рептилия никогда не пробовала ничего подобного, да и рыцарь ее забавлял, так что дракон решил остаться у наивного чудака еще на несколько дней. Потом на неделю. На месяц. На год. Его острые когти царапали роскошный паркет. Он кашлял пламенем, портя древние гобелены, и распугал всех слуг (а некоторых даже съел). Но влюбленный хозяин замка не замечал ничего.

Шли годы. Отважный рыцарь умер, прожив долгую счастливую жизнь со своей возлюбленной. Но еще много сотен лет дракон приходил на ухоженную могилу, и слезы катились из его прекрасных синих глаз.

Маленькая сказка со счастливым концом

Рассказывают, что к гениальным композиторам вскоре после написания девятой симфонии является дьявол и забирает их с собой, чтобы не переполнилась установленная людям на Земле мера прекрасного. Так он унес Бетховена, Шуберта и Брукнера, явился за Дворжаком и Малером. Наконец, настал черед Шостаковича. Враг рода человеческого пришел к нему осенью, когда зябкая сырость пробирала до последних стропил искалеченные войной ленинградские дома, а люди еще смотрели на каждую кроху еды, как на маленькое чудо. Наклонив рога, он шагнул в кабинет и встал за спиной композитора. Тот даже не шелохнулся.

– Я пришел забрать тебя в ад, – тихонько сказал дьявол. Тысячелетия общения с грешниками сделали его тактичным.

Шостакович медленно обернулся, и Сатана с удивлением увидел на его тонких губах усмешку.

– Ты опоздал, – ответил композитор. – Я уже давно в аду.

Дьявол посмотрел в его не по возрасту усталые глаза, окинул молниеносным взором статью «Сумбур вместо музыки», еще пахнущие типографской краской ждановские обвинения в формализме и листок об исключении из Союза композиторов, заплакал и отправился восвояси. А Шостакович написал еще много замечательных симфоний.

Владимир Севриновский

Родился в Москве в 1975г. Кандидат экономических наук, финансист и путешественник, посетивший около 60 стран. Соавтор романа «Отсчёт пошёл», автор рассказов и научных статей. Перевёл на русский язык документальный роман Дж. Кракауэра «Навстречу дикой природе», а также стихи ряда англоязычных поэтов

Рукопись

– Трр, стой! Приехали, ваше благородие.

Сани замерли. Пассажир в длинной шубе выбрался из кибитки и огляделся.

– Кажется этот дом...

– Он самый. Вон их окна в первом этаже.

Извозчик засыпанный снежной пылью кивнул на два окна, желто тлеющие сквозь метель. Остальной дом, высокий и черный, казался необитаемым.

– Откуда знаешь?

– Как не знать – давно возим... Велите обождать?

– Обожди, братец.

Приехавший скорым шагом направился к подъезду. У дверей всегдашнее (тщательно практикуемое) хладнокровие на миг оставило его. Где-то за этими стенами жил его кумир с детских лет. Его божество. «Неужели это будет... так просто?.. – подумал он и сразу оборвал себя. – Fi donc! Военный человек, а робею как девица». Он громко постучал. Тотчас отворили. Выглянул мужик с горящей свечой в шандале. Гость назвал себя. «Милости просим. – отвечал слуга. – Барин ждут». Сбросив шубу, визитер оказался юношей в мундире корнета лейб-гвардии гусарского полка. Прямой взгляд. Щегольские усики над пухлым ртом...

Они прошли темным, устланным попонами коридором. Из одной двери бежал, забираясь на стену, тонкий луч. «Идите прямо в кабинет, господин офицер, – тихо произнес слуга. – Велели пущать без церемоний». И удалился, шаркая ногами.

Молодой человек заглянул в просторный, освещенный несколькими свечами кабинет. Снизу доверху – полки с книгами, расставлены буквой «Е». Никого... Гость вежливо покашлял. В нише между полками скрипнул диван. И показался... Он. Невысокий, в халате. Лицо – то самое! Некрасивое, дьявольски магнетическое лицо, известное всей читающей России... Он уже спешил навстречу гостю. «А ростом пониже меня...», – быстро подумал корнет и сразу устыдился этой мысли. Хозяин, между тем, весело говорил, протягивая руку:

– Благодарю, голубчик, что исполнили мою просьбу! Уж позвольте мне, старику, так вас называть.

– Ради бога. Для меня большая честь...

– Руки-то ваши совсем озябли. – перебил хозяин. – Сейчас же глинтвейну! У нас как раз горячий. Я прикажу, а вы тут располагайтесь.

Гость прошел вдоль книжных полок. Рассмотрел изысканную бронзовую чернильницу на столе. Хотел было опуститься в вольтерово кресло но передумал. Придвинул стул. Тут вернулся хозяин. За ним – давешний мужик нес в подносе толстые бокалы с ручками и кувшин. Теплый, пряный аромат наполнил комнату. Корнету нестерпимо захотелось глинтвейна.

– За что же выпьем? За нашу встречу?

– Да! Я давно мечтал о ней.

– Удивительно, что мы не встретились раньше. Вы не находите?

– Да, странно. И виделись только раз. Помните, осенью, на балу у государя. Я все думал подойти и не решался. А когда собрался с духом, вы исчезли.

– Помню. Я вынужден был уйти.

– Потому что явились...

– Не надо этих имен. Извините.

– Я понимаю.

Собеседники помолчали.

– Что? Хорошо? – хозяин кивнул на пустые бокалы.

– Восхитительно.

– Повторим?

– Не откажусь. Но простите мое любопытство... что за дело вы упомянули в записке?

Хозяин наполнил бокалы. Пригубил. И задумчиво ответил:

– Я мог бы ускорить вашу литературную славу. Ведь вы хотите прославиться?

– Положим, но...

– Какое может быть «но»? Я читал ваши стихи. Они замечательны, есть собственный голос. Вы далеко пойдете. Однако, это дело необходимо... подтолкнуть.

– Вы говорите о протекции в журнале?

– Лучше. Я отдаю вам повесть.

– Повесть?

– Условно говоря. Несколько рассказов с общим заглавием и героем. О ней никто не знает. Перепишете своей рукой, оригинал уничтожите. И опубликуете года через три после моей смерти. То есть году, примерно, в сороковом. Гонорар отдадите вдове. Скажете – забытый долг или что-нибудь такое.

Величайшее недоумение застыло на лице молодого человека. Наконец он произнес:

– Вам угодно... шутить надо мной?

– Ни коим образом. Вот она. Единственный экземпляр, черновики сожжены.

На столе возникла папка, завязанная тесемками.

– Я... не понимаю. Как можно?.. Это бесчестно.

– Бесчестно что? Разве вы ее украли?

– Бесчестно пользоваться... результатом вашего труда.

– А пользоваться трудами крепостных вам честно?

– Это другое. Они – наша собственность.

– Именно другое! Оттого что литературные творения еще менее, чем живые души, могут быть собственостью одного человека.

– Допустим. Но в таком случае, почему вы не опубликуете ее сами?

– Авторство не имеет значения там. – хозяин указал на потолок. – Но до некоторой степени важно здесь. Повторяю, я хочу сделать из вас знаменитость. И не в сорок лет, когда это пустое бремя, а в двадцать пять. Знаете, у меня есть младший брат, и я его люблю. Но он, к сожалению, далек от литературы... Впрочем, я не о том. Мне симпатичны вы. Мне нравятся ваши стихи. Нравится то, что слышу о вас...

– Что же обо мне говорят?

– Авантюрист, фаталист. Зол, смел, безрассуден. Довольно? Так отчего бы нам не устроить им... хе-хе-хе... розыгрыш века? А-с?

Он изобразил рожки, подмигнил и усмехнулся, оскалив крупные зубы. «Дьявол! – подумал юноша, не в силах отвести взгляда от тёмно-серых с фиалковым отливом глаз. – Да он меня гипнотизирует... »

Его собеседник остался доволен эффектом.

– Соглашайтесь, повесть хороша. – добавил он спокойнее. – Ее станут цитировать, играть в театрах. Переведут на другие языки... Вы будете в моде. Напишете еще много славных вещей. Хвалебная критика, восторг читателей, поклонницы... Мне этого довольно. А там – он поднял глаза – и вовсе без надобности.

– Но как вы можете знать, что скоро умрете?

– Могу. Во-первых, дуэли не избежать. Притом мерзавец, говорят, отменно стреляет.

– А если...

– Исключено. Кроме того, нагадала мне одна дура... А главное, сам чувствую – осталось уж недолго. И верите ли? – я не боюсь. Как-то устал от всего. Устал.

Он потер ладонями виски.

– Не сочтите за дерзость... Может быть вам уехать? В деревню. Или за границу.

– Потом. Если повезет.

– Что ж тогда будет с рукописью?

– Ничего. Отошлете назад. Так мы, стало быть, договорились?

– Нет. Я не могу. Я мало сочиняю прозы. Ведь не поверят! Скажут, откуда взяться блестящему слогу в такие года?

– Поверят. Я нарочно изменил стиль. Подбавил мрачности, насмешничанья, романтизма. Представил себя молодым офицером, таким как вы... И героя вывел похожим.

– Но вы меня едва знаете.

– А воображение на что? Решайтесь. Ну?

– Я согласен.

– И сделаете все, как я просил?

Макс Неволошин

В далеком прошлом – учитель средней школы. После защиты кандидатской диссертации по психологии занимался преподавательской и научно-исследовательской деятельностью в России, Новой Зеландии и Австралии. С 2003 года живет и работает в Сиднее. Сочинительством, как хобби, увлекается около 20 лет. Стихи и рассказы Макса можно найти на сайтах stihi.ru и proza.ru.

– Слово дворянина.

– За это – еще по кружке!

Когда офицер вышел на улицу, метель затихла. Стало холоднее. В небе между рваными облаками кружились и мигали звезды. «Будто фейерверк, – подумал он, – или это в голове у меня кружится? Опьянел с трех стаканов. Позор. И что у него за рецепт такой?..» На минуту весь эпизод почудился ему сном. Из тех истинно живых снов, о которых, пробудившись, не можешь забыть весь день. Кумир юности, глинтвейн, рукопись... Корнет шел вдоль замерзшей реки, сам не зная куда. Ровный хруст снега под ногами успокаивал его. « ...о которых, пробудившись, не можешь забыть, – думал он, – ведь сны эти живее, ярче, необходимее того, что уходит мимо наяву. Иногда в подобных снах мы рассуждаем, вот как я теперь. Сомневаемся – вправду ли это? И боимся дать ответ».

Вдруг за плечом его кто-то сказал:

– Я здесь, ваша милость.

Корнет вздрогнул, обернулся и узнал извозчика.

– Испугал, черт!

– Виноват. Прикажете домой?

– Домой.

«Но если завтра я проснусь, и все это окажется видением, – размышлял он далее, устроившись в кибитке, – то надо скорее поглядеть – что там». Корнет стащил перчатки. Развязал папку. Дождался фонаря.

На титульной странице красивым, летящим почерком было выведено...

«Интеллигент» г. Санкт-Петербург. **Учредитель:** Сергей Пашков. **Главный редактор:** Наталья Крофтс. **Зам. главного редактора:** Вячеслав Барыбов. **Технический редактор:** Сергей Пашков. **Редакционный совет:** Дина Лебедева (Россия), Светлана Савицкая (Россия), Наталья Гордеева (США), Майя Шварцман (Бельгия). **Верстка:** Сергей Истомин. **Корректор:** Татьяна Вьюжная. **Художник:** Маргарита Рогозик (Петрозаводск). **Телефон редакции:** +79114149582 (с 14.00 до 21.00). **E-mail:** provint@yandex.ru. **Отпечатано** в типографии ООО «РИЦ«Вяйнола», 186930, г. Костомукша, ул. Строителей. **Тираж** 250 экз. **Заказ №** _____